

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР"

ТАТЬЯНА МОСКВИНА

РОМАН

**СМЕРТЬ  
ЭТО ВСЕ  
МУЖЧИНЫ**



Татьяна Москвина  
**Смерть это все мужчины**

«Автор»

2009

## **Москвина Т. В.**

Смерть это все мужчины / Т. В. Москвина — «Автор», 2009

Героиня романа – Саша Зимина – весьма успешная журналистка (пишет на социальные темы), но сама беззащитна перед жизнью, одинока. У неё есть и любовник, и бывший муж, который всё время маячит где-то рядом, и любимый мужчина... Но весь этот «мужской мир» толкает её к ещё большей душевной неустроенности. «Смерть это все мужчины» – история болезни гордого духа, драматически соединённого с женской природой.

© Москвина Т. В., 2009

© Автор, 2009

## Содержание

ОДИН – ПОНЕДЕЛЬНИК	5
1	5
2	8
3	10
4	12
5	14
6	16
7	18
ДВА – ВТОРНИК	20
1	20
2	22
3	24
4	26
5	28
6	31
7	34
8	36
ТРИ – СРЕДА	37
1	37
2	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

# Т. В. Москвина

## Смерть это все мужчины

### Роман

– Брат, позволь ещё спросить: неужели имеет право всякий человек решать, смотря на остальных людей: кто из них достоин жить и кто более недостоин?

– К чему же тут вмешивать решение по достоинству? Этот вопрос всего чаще решается в сердцах людей совсем не на основании достоинств, а по другим причинам, гораздо более натуральным. А насчёт права, так кто же не имеет права желать?

– Не смерти же другого?

– А хотя бы даже и смерти?

**Фёдор Достоевский. «Братья Карамазовы» Ч. I, кн. 3**

*Смерть – это все машины,  
Это тюрьма и сад.  
Смерть – это все мужчины,  
Галстуки их висят.*

*Иосиф Бродский*

*Это чем-то похоже на спорт  
Чем-то на казино  
Чем-то на караван-сарай  
Чем-то на отряды Махно  
Чем-то на Хиросиму  
Чем-то на привокзальный тир  
В этом есть  
Что-то такое  
Чем взрывают мир*

*Константин Кинчев*

## ОДИН – ПОНЕДЕЛЬНИК

### 1

Он может меня изнасиловать, а я не могу его изнасиловать, поэтому я должна его любить. По любви не больно. Впрочем, *нормальная женщина (не я)* легко могла бы его полюбить – вернее, то, что они называют «полюбить». Он крепок и красив, как гриб-боровик среднего возраста, выросший в благоприятных условиях. И так же самодоволен (а из грибов кто не самодоволен? Коллективисты разве, опята, козлята, маслята... дружные ребята).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> В тексте сохранена пунктуация автора. – Ред.

Широкоплечий, стрижется коротко, глаза серо-голубые, ресницы длинные и пушистые. Это у многих мужчин так бывает, даже зло берет иной раз – к чему им такие ресницы? Вот несчастным созданиям, которые пытаются их соблазнить, они быгодились. Если бы буржуйская промышленность додумалась до средства увеличивать ресницы в пять раз, интересно, сколько миллионов женщин купило бы эту дурь? Сидит сейчас напротив меня и завтракает с аппетитом. За два года нашей жизни не припомню, чтобы он завтракал без аппетита. Полы халата разошлись, видны кривые ноги. Кривые и короткие, но кто ж в мужчине ноги-то разбирает? Себе они прощают всё – обвислые брюшки, кривые ножки, оттопыренные ушки. Почему же не прощать? Это, например, его квартира. Я живу в его квартире. Час назад, с минуту подумав, ввязываться ли ему в утомительное предприятие, то есть в меня, он всё-таки использовал утреннюю эрекцию, как об этом бы мечтала *нормальная женщина*. Да, она была бы довольна сейчас. Нормальная женщина не может думать столько, сколько думаю я. Они выходят себе замуж в двадцать лет, а уж мужа находят, чем заполнить пустоту их душ и тел. Муж может оказаться алкоголиком, бабником, русским писателем, серийным убийцей, политиком, буддистом, заняться крупным бизнесом или экстремальным видом спорта... в общем, составить счастье нормальной женщины на долгие годы. С ними не соскучишься.

А моё счастье – что люди не читают мысли друг у дружки. Счастье непрозрачности. Я могу скрыться, и я скрываюсь.

Он смотрит на меня, пожалуй, даже ласково. Он видит перед собой молодую женщину, стройную, светлоглазую, аккуратно причёсанную (я заплетаю свои русые волосы в небольшую косу). Я сделала ему на завтрак гречневую кашу по всем правилам и заварила отличный чай. В нашей квартире на Яхтенной улице (резерв, хитро скрытый от супруги и не фигурировавший в долгом и нудном разводе) он появляется несколько раз в неделю. Он рад, что я не завожу разговоров о будущей семейной жизни, не устраиваю скандалов, не выясняю отношений, не напиваюсь, не флиртую с другими в его присутствии и редко отказываю в постели.

Собственно говоря, это всё, что ему нужно от меня. За два года этот милейший из грибов не удосужился выяснить, где я работаю, поверил на слово, что мне двадцать девять лет (а тридцать шесть не хочешь, моя радость?), не задал ни одного вопроса о моём прошлом – кроме, разумеется, самого знаменитого.

– У тебя было много мужчин?

*Зачем они спрашивают? Что они хотят услышать? Какая етитская сила толкает их всех, старых и молодых, умных и глупых, чистых и развратных, в самую неподходящую минуту задавать самый неподходящий вопрос? Непонятно – то ли держать наготове один и тот же ответ, как боевое оружие, то ли никогда не отвечать, ибо правильного числа не существует. Одна моя знакомая в этой ситуации решила назвать какую-то реалистическую цифру (типа восемнадцать), включив туда групповое изнасилование в десятом классе и периодическое рукоблудие своего шефа. Партнер был неприятно удивлён. Вскоре связь пресеклась. Может быть, следует отвечать так: что ты, дорогой, разве это были мужчины! Слёзы, не мужчины. А теперь у меня есть ты! Но нет, подозреваю, и этот фокус не пройдёт. Всё безнадежно*

Между тем я смиренно внимала его рассказам о жизни и неплохо там ориентируюсь. Твердо знаю друзей по именам и жёнам, не собоюсь и в родственниках, догадываюсь о бизнесе. Наслышана о бывшей жене Оксане. Она идиотка.

Имя у него хорошее, подходящее – Егор.

– Саня, я пошёл. Наверное, послезавтра где-нибудь... Ну, я на мобиле, если что. А может, подбросить тебя?

– Мне к одиннадцати, рано ещё. Сама доберусь. Спасибо, милый.

– Вот что сидишь на своей дурацкой работе, лучше бы права получила, села за руль. Ты умная. Сейчас такие ляльки на дорогах рассекают – ой-ой-ой. Я тебе, может, подобрал бы что. За хорошее поведение.

Смеётся. Нравится сам себе – такой добрый, великодушный. С утра на работу – трудовой мужчина.

Нет никакого смысла говорить ему о том, что я не хочу водить машину. Не хочу курить, стрелять, носить брюки, играть в футбол...

*Я не хочу быть вами*

– Бросай ты работу, Санька, а то глаза испортишь.

Он упорно думает, что я работаю где-то корректором. Если бы это фантастическое существо (*абсолютно нормальный мужчина*) хотя бы читало газеты, то, может, и обратило бы внимание на журналиста Александру Зимину, пишущую статьи, как говорится, «на социально-бытовые темы» в еженедельнике «Горожанин». Может, оно тогда хлопнуло бы себя по коротко стриженной голове, в которую пришла жуткая мысль: «Да это не моя ли Санька?»

Но он не читает городских газет и, кажется, нетвёрдо помнит, как моя фамилия.

Мне повезло.

## 2

Сегодня понедельник, день Луны. Надо быть осторожной. Ещё осторожнее, солнце моё? Да, ещё осторожнее. Наброшу серебристый платочек – в честь неё, в честь Луны-заразы.

*Не ходите ночью в ельник, потеряете штаны. Не гадайте в понедельник, понедельник – день Луны. Немочь бледная засветит, и забудете, как звать. Нечисть вредная заметит, за какой бочок вас хватать.*

Мама считала меня странным и трудным ребёнком. Я не желала ни ходить, ни говорить в положенное время, мало улыбалась и много плакала. С фотографий того времени смотрит насуспенное, угрюмое дитя. Так и мерещится жёлтый эмалированный горшок, прилипающий к попе, и запах горелого молока – классика советского детского сада. Молчала и плакала, тогда уже понимала.

*Это чужой мир*

Когда я была в старшей группе детсада, один крепкий, здоровенный мальчик проломил мне голову кубиком. Нам давали кубики, обклеенные картинками, – играть, строить. Кубики были добротные, из цельного дерева. Непонятно, чем этому мальчику могла помешать бессловесная девочка, которая писалась в «тихий час» и панически боялась, что однажды родители её *забудут* взять. Мальчика сильно обругали под тем философским предлогом, что девочек бить нельзя. «Почему нельзя? – поразился юный преступник. – Они что, не люди?»

Теперь-то он наверняка понял, что – *«не люди»*. Я нынче его часто вижу, особенно летом. Он вылезает из джипов и идет враскорячку, точно ему яйца мешают, в придорожное кафе. Смотрит немигающими глазами в карту. «Ну, по шашлычку», – говорит он такому же приятелю. «И попить чего-нибудь», – добавляет тот.

В хорошую погоду, оккупируя берега водоёмов, они топят друг друга с радостными воплями, а потом часами лупят по мячу. Мяч летит как пуля. Я всегда вжимаю голову в плечи, проходя мимо, – кубик сказался.

*Обычно их зовут Гена*

Интересно, это они в подростковом возрасте пишут на лестничных клетках «Веталик лох» и «Слава казёл» или эти надписи проступают сами, как «мене текел фарес» древности?

В метро я разглядывала пассажиров. Все были, по хохляцкому выражению, «изробленные». Какие-то исторически умученные. Конечно, девчата храбрились, надеясь встретить свою судьбу прямо в метро. Как можно всерьёз считать людьми существа, которые каждый день раскрашивают себе лицо, пытаясь этим понравиться – кому-нибудь. Сейчас вот снег растает, и в лесах обнаружатся их трупики. Ушла из дома и не вернулась. На вид лет восемнадцать. Одета в куртку китайского производства...

*Наконец кому-то понравилась*

А женщин после пятидесяти вообще надо собирать в мусорные кучи и сжигать. Это было бы несправедливо, но милосердно.

Жизнь родилась в тёплом море, постепенно, тысячелетиями богооставленности, сползла к северу, и оказалось, что холод – друг жизни, верное средство от порчи материи, не прорастающей гнойниками иллюзий. Север умнее и хитрее неизлечимо пошлого Юга, живущего на остатки бывших господних милостей. На Севере надо *уметь жить* – сейчас, когда на дворе стоит март, неотличимый от ноября, ступать по мокрому снегу, не мечтать о весне, приближаться к бессмысленной работе, не думать о безнадежной любви, с удовольствием чувствуя металлический, чисто северный блеск своей души.

*Я знаю, что рано или поздно они убьют меня. Охота идёт давно. Но мы ещё повоюем, господра, ибо я, северянка, хитра и осторожна. Я маленькая лиса, и кто найдёт мою нору под осиной, поросищу багульником и черникой*

Мой «Горожанин» занимает второй этаж бывшей школы – на первом суетятся несколько турагентств, а на третьем довольно успешно промышляет человеческой глупостью издательство «Кармен». Эротические карты, лунный календарь огородника, кроссворды, что должна знать каждая женщина. Да, нами занимаются весёлые ребята. Сначала они заставляют *каждую женщину* учить тригонометрию и астрономию, а потом эти инфантильные психопатки переходят на познавательное чтение о том, как добыть мужчину, не приходя в сознание. Все сотрудники «Кармен» удивительно жизнерадостны.

О нашем коллективе такого не скажешь.

Когда-то «Горожанин» был «Ленинградцем», но затем, после долгих пореформенных конвульсий, был приобретен господином Файзиленбергом – видимо, как возможный рупор новой жизни. Преобразование не удалось. Файзиленберг давно исчез и даже никем не разыскивался. Руководство «Горожанина» с кем-то тайно советовалось и продолжало полужизнь своего *печатного органа*. Нельзя сказать, что он так-таки ничего и никого не представлял, – нет, это был один из питомцев общегородской грибницы, куда бывший третий секретарь райкома комсомола всегда мог пристроить на работу свою племянницу, пользуясь ещё теми знакомствами. Место работы, не имеющее цели вне себя, – нормальное советское болото, где служащие с утра пили чай из пакетиков и растворимый кофе. Они употребляли суррогат и производили суррогат из несвежих новостей и нечитаемых комментариев. Летом мы докатывались уже до следов снежного человека в Приозёрске и чёрной дыры из созвездия Скорпиона, которая, как утверждают учёные, приближается к Земле со скоростью чего-то там в час.

Моё дело маленькое. Я пишу на бытовые темы, вожусь с людской *пластмассой*, вникаю в тёплое и грязное *человечиво*. Без пафоса, без сантиментов, без всяких там «но куда же мы идем?!», «но что же с нами происходит?!». Зрелище чужих несчастий хорошо отвлекает от собственных – так, наверное, хлопоча вокруг нас, ангелы забывают о своей неминуемой обездоленности в вопросах личного счастья.

Несмотря на то что работаю я на полставки, у меня есть кабинет в двенадцать метров, который я делю с нашим публицистом Ильёй Карпиковым. За пять лет моей жизни в газете мы с Карпиковым стали добрыми товарищами и так раскормили нашу монстеру, что она даёт летом изрядную тень, как это и приличествует благородному дереву.

Илья Ефимович уже был на работе.

### 3

– Экономический рост! – и Карпиков глянул на меня печальными зелёными глазами поверх круглых очков. – Экономический рост, Саша! Они вон что выдумали: будто в России начался экономический рост. И знаете, какие доказательства? Вот, пишут, дескать, посмотрите, всюду в кафе, в ресторанах сидят люди и что-то всё время едят. Ха. В Риме накануне падения люди что, не всё время ели? Почтище нашего, между прочим...

Низенький, лысый Карпиков предпочитал любой одежде серый свитер с орнаментом из двух оленей на груди (ширпотреб шестидесятых годов, музейная уже редкость). Он приближался к шестидесятилетию юбилею, явно имея в активе личной жизни один лишь вдохновенный *аутоэротизм*, и как публицист тоже был пронзён одной могучей мыслестрастью. Она руководила им и сообщала всем его статьям натуральный и неизменный жар.

Илья Ефимович не верил, что в России хоть что-нибудь может измениться к лучшему.

Он отслеживал все изменения с проворством и прозорливостью опытного диагноста, после чего ставил один и тот же диагноз. От того, что этот умственный фокус Карпиков проделывал в нашем цирке сотни раз, он не переставал меня восхищать. «Но, Илья Ефимович, – сказала я ему как-то, – вы же не сможете отрицать, что сейчас нет массовых репрессий, нет политических заключённых, разве это не прямое благо?»

– Политические заключённые? А откуда они возьмутся, политические заключённые, когда у страны нет ни политики, ни идеологии, а только желудочно-кишечная деятельность под соусом демагогии? – отвечал тот без запинки. – Какие сейчас могут быть массовые репрессии при таком уровне казнокрадства? Допустим, правительство выделит астрономическую сумму на строительство лагерей. Деньги – если они вообще выйдут из Москвы – доберутся в отдалённые губернии и там осядут крепко и навсегда. Построены будут разве фундаменты. Зэки с конвоем отправятся по железной дороге в эти несуществующие лагеря, конечно, если жэдэ соизволит дать вагоны, а это ещё с какой стати. Вскоре пропадут все: зэки, конвой, оружие, сомневаюсь я также в вагонах и рельсах. Рельсы тоже можно приспособить на продажу. Назначат комиссию, комиссия приедет в губернию, проведёт там пару приятных дней и уедет писать заключение, что всё в порядке, зэки рубят лес, а на досуге вырезают из особо ценных пород древесины фигурки президента. О чём имеется сюжет местного телевидения...

Пламенный дух Карпикова и аскетический образ его довольно чистой жизни способствовали прямо-таки богатырскому здоровью Ильи Ефимовича. Он был разборчив в еде и тотально подозрителен к любому товару. Даже на покупку минеральной воды у него уходило полчаса, не меньше. Обычно судьба безжалостна к попыткам вычислить её, но Карпикову сделали поблажку – то ли рассчитывая когда-нибудь поэффектнее его прикончить, то ли удовлетворившись прекращением карпиковского рода. Он был единственный ребёнок своей доброкачественной еврейской мамы и пропащего русского отца.

Бурча про экономический рост, Карпиков принялся самозабвенно бряцать на лире компьютера, а я проверила почту. Читатели писали мне иногда – время от времени я задевала *за живое*, оно стонало и кричало в ответ. Живое ведь кричит.

– Вас в пятницу не было, а тут бесновался господин Правдюченко.

– Так, Илья Ефимович, я потому и не хожу по пятницам.

Мы выходим в четверг, и, когда меня настигает творческая удача, по пятницам являются мои герои, требуя сатисфакции. В этот раз явился главный герой статьи «Бедный господин Правдюченко», жулик средней руки, семь лет уклоняющийся от уплаты алиментов на больного ребёнка. Его замученная до прозрачности жена Ирина получала по закону пятьсот рублей в месяц (четверть его официальной зарплаты), пока не удалось установить некие более-менее реальные контуры доходов господина Правдюченко. Суд в таких случаях охотно идёт

навстречу *истице*, но довести дело до суда – мытарство, особенно с больным ребёнком на руках. Я, помню, потеряла на миг хладнокровие, увидев две смежные комнаты в коммуналке, куда Правдюченко закинул свою семью после развода. Разваливающиеся стулья с засаленными сиденьями – характерная мебель *пореформенной России*, но у Ирины не было средств даже на три лампочки по сорок ватт для, с позволения сказать, люстры, то есть трёхрожкового безобразия. Девочка-подросток читала бесплатный рекламный журнал и смотрела на бубнящую про свои несчастья маму довольно презрительно. Офелия, ступайте в президенты – мы новые построим города...

*А ты что, не видела, за кого замуж пошла? Каким местом ты могла его любить? Хотела, чтоб всё было как у людей? Получай теперь своё законное как у людей». У господина Правдюченко беременная жена двадцати лет и ещё одна лялька с тату-клубничкой на заднице, ему на серьёзе деньги нужны, а не ваши коммунальный отстойник, где на него смотрят волком и все что-то требуют, требуют. Они умеют начинать новую жизнь, а ты не умеешь даже продолжать старую. Если бы ты убила его, суд бы тебя оправдал, но ты не можешь даже себя убить, ничего не можешь, училка, нищая тварь, тебя больше никто не захочет никогда, давай плачь, пиши письма в редакцию, вымаливай у них рублики. А потом купи на эти деньги пистолет для своей дочки, у которой ещё есть в глазах здоровый огонёк ненависти, и пусть она сделает это прямо в хамскую рожу своего отца. Прямо в рожу. За всех детей*  
– Александра Николавна, вас Игорь Васильевич просил зайти.

Игорь Васильевич Прогалик – наш главный редактор. Я подумала, что вызов навеян господином Правдюченко, и отправилась к нему, ничего не предчувствуя. Сказано же: «свою пулю не слышишь».

## 4

В кабинете Прогалика меня всегда изумляла одна вещь, и менее всего это был сам хозяин. Розовый мрамор его округлого лица, массивные очки, удачно прячущие глаза без цвета и мысли, тонкие губы, серые волосы, смиренно приникшие к черепу, – всё вызывало в уме плотные стройные ряды настоящих советских прогаликов, начальничков-чайничков. Изумлял меня подбор книг на стеллаже. Двухтомник «Печерские дали». Весь Пушкин в одном золотом кирпиче. «Былое и думы» Герцена. Сборник «Русский Эрос». Увесистый Фрейд. «Господин Гексоген» Проханова. Почему-то автобиография Эдуарда Шеварднадзе... Всё это как-то, видимо безуспешно, пыталось заменить собрание сочинений В. И. Ленина, стоявшее в былые дни на своём законном месте.

Прогалик был не один. На главном, на его стуле сидел неприметный господин и пил чай, а сам Прогалик сидел сбоку, там, где во время совещаний размещался выпускающий редактор. Вселенная кабинета давала рельефный сбой.

– Познакомьтесь, Александра Николаевна. *Это Владимир Иванович.*

Владимир Иванович быстро, мягкими шагами подошёл ко мне и как-то специально, на зрителя, удивился.

– Вы – Александра Зиминая?

– Да, скорее всего, это так, – отвечала я без раздражения, заметив, что глаза у гостя смотрят в разные стороны. Невзрачный косой человек, сидящий у главного на его месте, мог оказаться опасен. *Не от них ли пришли? Не по мою ли душу?*

– Но мы же знакомы! – радостно заявил незнакомец. – Прошлым летом вы были на дне рождения у Резо Смотришвили, на даче, помните? Вы – невеста Егора Лапина? А Егор и не сказал, что вы та самая Зиминая. Я всегда вас читаю, Александра Николаевна. Восхищён. Неизменно восхищён.

– Ну, вот и поговорите тут по делу, вам интересно. Я на минутку отлучусь, – пробормотал Прогалик, испаряясь.

Я помнила день рождения Смотришвили – в загородном доме, похожем на Шарлоттенбург, правда, трудолюбивые прусские короли жили куда скромнее. Смотришвили палил из подарочного ружья и пел под караоке революционные песни. В качестве эксклюзивного развлечения в именинный пирог запекли кольцо с бриллиантом, и гости с энтузиазмом бросились его разрезать. Было очевидно: победа новой России неизбежна. Побеждает ведь аппетит. Но насмешливая судьба неистового Резо, через полгода пригласившая подопечного к подписке о невыезде, подыграла ему и в экстагической безвкусице – кольцо обнаружил у себя на зубах сам Смотришвили. Я там была лицо без речей и никакого Владимира Ивановича не помню. Да его хрен запомнишь.

Мы сели друг против друга, и я сцепила кисти рук. Кольцо защиты.

– Неизменно, да... Мне нравится, как вы пишете – прозрачно, остро, без болтовни. Жёстко, пожалуй. Не по-женски даже.

– Ну, у вас ведь если у женщины что-нибудь хорошо получается, так обязательно *не по-женски*. Хоть бы скрывали свою ненависть, а то через слово проговариваетесь.

– Что вы, что вы! Какая ненависть! Я уверяю – ваш навек. Читатель и поклонник. Вот ваша серия статей о проституции – обычно журналисты хоть как-то сочувствуют жертвам общественного темперамента, а вы – нисколько. У вас и жертвы и палачи одинаково отвратительны.

– Всё-таки неодинаково. Всё-таки человек, который позволяет издеваться над собой, и человек, который издевается, отвратительны по-разному. Но да, конечно, это единичное явление, два лика одной и той же мерзости.

– Но, заметьте, очень древней мерзости.

– Ах, оставьте, пожалуйста, эти ваши сказки о весёлых дамах в леопардовых шкурах, которые давали первобытным мужчинам за мёд и лесные орешки. Какое отношение это имеет к современному *цивилизованному* миру, когда женское тело опозорено и обесценено так, что я даже не понимаю, как эту фастфудную дрянь, продающуюся на каждом углу, можно всерьёз хотеть?

– Да вот хотят же.

– Рудимент и атавизм.

Владимир Иванович рассмеялся.

– Будем надеяться, на наш век атавизма хватит. Я к вам, Александра Николаевна, по делу.

– Могу ли я поинтересоваться вашими полномочиями?

Мне понравилось, как он ответил. Спокойно и просто.

– Моя работа связана с вопросами государственной безопасности.

– Я её нарушаю?

– Да что вы, Александра Николаевна. Вы – опора государства. Чистый человек, ни в чём не замешанный. Я вас потому и выбрал. Позвольте мне предоставить вам некоторые документы, связанные с жизнью и деятельностью нового советника губернатора. Он сегодня назначен, вскоре будет официальное объявление... По ряду причин, о которых мы с вами можем потом поговорить, мне хотелось бы, чтобы эти документы оказались в ваших руках.

– Позвольте и мне ответить вам, как ээки говорили где-то у Довлатова – *политику не хаваем*.

– В вашем случае это не политика. Вы поймёте, как только прочтёте хоть одну строчку. Я ни на чём не настаиваю, только прочтите – и всё. Я же знаю, что вы кремень, и ни о каком насилии нет и речи. Не требуется никаких публикаций, вообще не надо никакого шума, разговора, тихо ознакомьтесь, и мы с вами немножко пошепчемся. Вы и я. Вот и конвертик.

Я взяла большой белый конверт.

– Я знаю, это смешно звучит, но если мы договорились и вы обещали, что у меня нет никаких обязательств, кроме как это прочесть, – чего стоит ваше обещание?

– Обижаете. Я не китайскими игрушками торгую. К вам, Александра Николаевна, в моём лице пришло государство...

(«С косыми глазами», – подумала я.)

... Пришло и просит такую малость. Со всем уважением. С любыми гарантиями. Вам ведь хватит двух, трёх дней – для постижения, так сказать, проблемы в её истинной глубине?

– Ну да, а потом вы, конечно, *сами меня найдёте*, – отвечала я, собираясь уходить.

– Да, да... – заулыбался Владимир Иванович. – Найду, не беспокойтесь... Кстати, Александра Николаевна, хочу спросить вас как образованного человека... Я тут книги рассматривал, у Прогалика, и что это за томик такой загадочный – «Русский Эрос»? Что, есть какой-то особенный, наш, русский Эрос?

– Разумеется есть, Владимир Иванович... Если есть русская душа, отчего не быть русскому Эросу. – И добавила про себя: «Русский Эрос – это когда Родина тебя е... т, а ты в это время о ней думаешь».

## 5

Белый конверт был неприятно тяжёлым, но на этом мои лунные неприятности не закончились. В коридоре мне навстречу, на вывернутых балетных ногах, шествовала госпожа Дивенская. На изготовление людей идёт много разных материалов – кого-то лепят из глины, кого-то – из кошачьего дерьма, кого-то ваяют из стали, кого-то шьют из плюша. Я видела стеклянных людей, деревянных людей, бумажных, чугунных... Некоторые получались из пищевых отходов. Кое-что сделалось путём самозарождения из воды и спирта. Дивенская была создана из фальши. Она не могла извлечь из себя ни одного чистого звука. В журналистике такие люди обычно находят своё место в самой лживой зоне бытия – в культуре. Тяжёлая вереница угрюмых фантомов – всех этих балетных и оперных премьер, которые «вчера состоялись с огромным успехом», – под пером Дивенской превращалась в этажи рая, где зритель взбирался по ступеням всевозрастающих блаженств.

Бывшая сто лет назад балериной, Дивенская держалась прямо и отчётливо. По-моему, она всерьёз считала себя аристократкой. Её выцветшие голубенькие глазки сверкали и трепыхались на морщинистом лице, как обоссанные колокольчики, а губы, сложенные в курью жопку, наверное, по дизайнерской мысли хозяйки, транслировали приветливую улыбку. Говорила она хриплым пропитым басом, при этом на всех корпоративных вечеринках жеманно отказывалась от алкоголя, повторяя *вы же знаете, какой из меня питух*

– Александра, дорогая, здравствуйте! Ваш последний материал...

*Выключить звук. Ты же, сука, пишешь на меня доносы, а Прогалик их аккуратно складывает в ящик стола. Из-за тебя я пять лет сижу на полставки, а ведь кроме Карпикова и меня в вашей газете читать нечего. Ты и твои подружки, госпожа Стрелкова и госпожа Хватова, часами обсуждаете «эту Зимину», которая «себе позволяет». Вас на том свете с фонарями обыскали, а вы всё доносы пишете, жабы души. Сказала бы я тебе, да мне в открытую воевать нельзя защиты нет я не знаю куда делись люди моего мира*

... давно тревожит ваше недоверие к авторитетам. Вы постоянно иронизируете над известными людьми без всякой причины, без повода. Просто так. Для красного словца! «Головная боль, невыносимая, как Солженицын»... Голубушка, вас и в проекте не было, а Александр Исаевич уже был великим писателем. Или это: «Жена обязательно хотела сводить его в Мариинский театр на оперу, но несчастный предусмотрительно напился в хлам – и был спасён». Что это, зачем? Вы разве оперный критик?

*Пожилая и дрянная женщина, я обязана тебя уважать, я не могу сказать тебе: Марина Витальевна, отъебитесь от меня со всеми вашими известными людьми. А скажу когда-нибудь.*

– Александра, вы меня слышите?

– Марина Витальевна, вы всё ищете пути для нашего взаимопонимания, но поверьте – их нет.

– А вот я так не считаю!

Но отстала. Понедельник он и есть понедельник – *нечисть вредная заметит, за какой бочок вас хватать*

Я решила ничего не говорить Карпикову про интересующую меня безопасность, хотя это наполнило бы его душевную жизнь до краёв. Возилась до обеда со всякими справками по одиноким матерям – скоро сдавать материал, – пока не заглянул Андрюша Фирсов, наш фотограф.

Наверное, это был самый талантливый человек в нашем цирке и уж во всяком случае самый добродушный. Даже отъявленные политические гадюки получались в его изображении всего лишь милыми уродцами. Фирсов напоминал уртуру Исаака Дунаевского из фильма

«Дети капитана Гранта» – казалось, тёплый вольный ветер, овеявая его круглое детское лицо, запутался в русых кудрях. Как положено доброму мужчине, Фирсов состоял уже в третьем браке, всех жён мы видели и лицемерно удивлялись, как это Андриюшу *угораздило*. Особо сильное впечатление произвела вторая жена, христианская поэтесса Анастасия Судьбинина, которая однажды явилась в редакцию босиком, в венке из сухих ромашек. Из своей раздрызганной жизни Фирсов упрямо старался слепить что-то благообразное, трудился, хлопотал обо всех семействах, в которых, само собой, имелись ребёнки. Нынешняя супруга Нина оказалась бытовой террористкой, поэтому на рабочих посиделках Андриюша, под истерические звонки из дома, сосредоточенно напивался – стремясь побыстрее дойти до абсолюта, а потом уже сдаваться в семью.

Неразговорчивый, как большинство визуальных профессионалов, Фирсов трогательно ухаживал за мной – приносил съедобные мелочи к чаю, интересовался моим здоровьем и подолгу сживал в нашем кабинетце, глядя, как я работаю.

– Андриюша, – спросила я его как-то в раздражённую минуту, – вот к чему бы всё это было, а? Сидит и смотрит.

– Я так... – кротко отвечал замученный семейной неволей. – Любуюсь...

– Да меня лечить надо, а не любоваться мной. Я понимаю, разбираться в людях – не твоя профессия, но всё-таки ты хоть что-то мог бы замечать.

– Я и замечаю. Я думаю, что ты несчастлива.

– Я и не должна быть счастлива. Как может быть счастлив монстр? Я – монстр, понимаешь? Если бы тебе дали распечатку моих мыслей за день! А ты, киса, смотришь на меня и видишь всего-навсего молодую женщину, в синем платье...

– И воротничок белый. Очень красиво. Можно я щёлкну?

Что с ним разговаривать!

## 6

Из трансформера моего имени Фирсов выкроил нечто ласково-мистическое – он называл меня «Аль».

– Я, Аль, за тебя дрался в пятницу, – объявил он с гордостью, расставляя на столике свои к-чаю-дары, земмелах и косхалву. – Приходил такой... с рожей, тебя ругал. Мы с охраной его вывели. Я ему чуть в ухо не дал.

– Восточные сладости? – подозрительно сощурился Карпиков. – Где брали? На Невском? Всё равно, как говорится, рыск. Да, Саша, был шум. Но насчёт в ухо дал – не знаю, не видел.

– Я не говорю, что совсем... я собирался. Это который ребёнку алиментов не платит?

– Да, милый, это твой антипод. Ты же всем платишь?

– Ну... – пожал плечами Андрюша. – Мои ж дети...

– Вот потому я тебя пять лет вижу в этой слабо полосатой рубашке и в этой пожилой куртке, а господин Правдюченко денег зря не тратит, и он прав. По-своему прав. По законам социального леса.

– Да, в этом пункте, – сообщил Карпиков, придирчиво оглядывая кусочек земмелаха, – особого падения нравов я не вижу. Мужчин всегда заставляли содержать детей, для того и церковь установлена, и законы писаны. По своей-то воле они вряд ли...

– При чём тут церковь? Я вот ни разу и не венчался, и никто меня ничего не заставлял, – рассердился Фирсов. – Я просто вообще не понимаю, как это – бросить своего ребёнка. Буду сидеть сто лет и думать и всё равно ничего не пойму.

– Ты, Андрюша, хороший мужчина.

– Ты тоже хорошая.

– Поэтому-то мы с тобой и обречены. У хорошего мужчины и хорошей женщины нет никаких шансов пересечься в этой жизни. Эти малочисленные группы населения обычно ведут несовместное существование. Сначала хороший мальчик и хорошая девочка учатся в одном классе, но мальчик влюбляется в блондинку из параллельного, а девочка – в кретина из старшего. В районе восемнадцати – двадцати лет мальчик женится, а девочка выходит замуж, разумеется неудачно и несчастливо. Им изменяют, они разводятся, много трудятся, ищут своё место в жизни, вступают в повторный брак и честно пытаются построить наконец правильную семейную жизнь. Из дома на работу, с работы домой. Встретиться они могут лет через двадцать пять после школы – например, в больнице, где хороший мальчик лежит на *второй кардиологии*, а девочка на *первой гинекологии*. Здесь они могут сильно подружиться возле жестяной баночки, набитой окурками, на чёрной лестнице, где расскажут друг другу, улыбаясь, всю свою жизнь.

– А потом? – спросил отчего-то взволнованный Фирсов. – Подружились, и потом?

– Потом, друг мой Андрюша, они разойдутся по своим домам. Потому что они – хорошие. Потому что они не могут, глядя в глаза человеку, с которым прожили десять, пятнадцать лет, сказать – пошёл вон, не надо тебя больше, я начинаю новую жизнь, и этим они отличаются от господ Правдюченко. И поэтому господин Правдюченко поедет отдыхать на Мальдивы (и от чего это они всё время отдыхают?), а хорошего мальчика лет в пятьдесят закопают в мокрый песок на Ковалевском кладбище. Девочка продержится дольше.

– Ужасное кладбище, – подтвердил Карпиков. – Так ездить неудобно. У меня мама там. У нас вообще – ни родиться толком, ни помереть...

– Илья Ефимович, мы в целом знакомы с кругом ваших мыслей о России, – сказала я, не без удовольствия наблюдая, как расстроенный Андрюша машинально крошит косхалву. – Интересно, где бы вы хотели родиться?

– Нигде, – убеждённо ответил Карпиков. – *Вовсе на свет не рождаться – для смертного лучшая доля. Софокл.*

– Чтобы это понять, надо всё-таки родиться, – отозвался Фирсов.

Реплика была удачна – я удивилась.

– Андрюша, это неплохо сказано.

– Ты зря считаешь, что я дурачок.

– Никогда я так не думала.

– Как будто я не вижу твоего выражения лица, когда Нина звонит. Ну, она моя жена, она любит меня, волнуется, ждёт, сердится, и правильно, потому что я раздолбай. А ты так смотришь, будто я... баран на верёвочке.

– О-ля-ля, – пропел Карпиков. – Бунт на корабле!

– Фирсов, мне до твоей семейной жизни, слава Богу, нет никакого дела.

– Извини, Аль, пожалуйста, – прошептал Фирсов и совсем тихо добавил: – Только это неправда.

Из затруднительного положения (никак не хотела я ссориться с Андрюшей: когда Зимину начнут окончательно выживать из газеты, это же единственный человек, который горой за неё встанет) меня вывел телефон. И залопотал этот голос, оркестр из одного человека, будто распахнулась дверь и разом ввалилась толпа народу:

*Шурик! Шурик! Это я, твоя крошка! Сейчас в «Шереметьево» рейс через час прилетаю на два дня в полной жопе Шурик месяц в депрессии звонила на трубу ты поменяла разнесло после операции не узнаешь Шурик только переночевать до вторника там ложусь в клинику всё остоебенило была в Испании помнишь Серёжу актёра ну когда мы на пари пошли на панель кого первую возьмут кормил нас неделю разбился на снегоходе кошмар двое детей Шурик как я тебя люблю в Испании обворовали да не меня у меня чего взять куча нового как ты как мудила этот не нае... л ещё на Яхтенной да нету никаких координат всё на х... потеряла Шурик я прилетаю к тебе твоя крошка соскучилась*

Сегодня Луна в ударе. Шуриком осмеливался звать меня единственный человек, который имел на это право.

Через два часа из Москвы прибывала крошка Эми.

## 7

Какие обязательства человек имеет по отношению к прошлому и к людям, из него появляющимся? Понимаю, что *эта задачка в общем виде не решается*, и всё-таки пробую найти верное решение, верный способ поведения или хотя бы верный тон. Ведь и я для кого-то могу оказаться покойником из прошлой жизни, бросающимся с радостным криком *А помнишь, а помнишь* – а не помнят или помнить не хотят. Для тебя живо – для другого умерло. Моя трёхлетняя жизнь в Москве *после крушения* умерла, погребена и не воскреснет. Но прожила я эту жизнь на паях с крошкой Эми – и теперь встречаю её на станции метро «Чёрная речка», раздумываю, как бы получше устроить *приятельницу* в квартире на Яхтенной улице (и не дай бог, Егорка заявится), знаю всё, что будет (много алкоголя, много рассказов, всё ненужно, всё чад и дым, ничего не избежать), не ропщу. Двухметровая дура, которую сейчас извергнет пищевод подземки, когда-то действительно делилась со мной последним куском хлеба и единственной приличной юбкой. Кажется, Маяковский написал что-то вроде: *Можно забыть, где и когда пуза растил и зобы, Но землю, с которой вдвоём голодал, вовек нельзя позабыть*

Когда мы познакомились, крошке было девятнадцать, теперь, соответственно, двадцать семь. Она так и не вышла замуж, хотя это желание всегда сияло у неё на лбу наподобие сигнала семафора, за несколько километров предупреждающего мужчин о возможной катастрофе. Её взаправду звали Эмилия, я прозвала крошкой Эми.

Воздвиглась. Дублёнка, изгрызенная снизу в стиле «собаки рвали», рыжие волосы – аж до пояса отрастила или нарастила? – красный ротище, и улыбается, как кашалот, да ещё в тёмных очках.

– Шурик! Ё...!

– Сними очки и не ори.

– Слушаюсь, ваше превосходительство... – и крошка отсалютовала мне рукой, украшенной длиннющими и острейшими, как у героини фильма «Эльвира – повелительница тьмы», ногтями. Девушки с такими ногтями редко выходят замуж. Большинству мужчин не приходит в голову, что этот кошмар – плод дорогостоящего искусства, следствие долгих манипуляций в специальных салонах. Они, наверное, думают, что такие ногти – некое естественное продолжение данной девической сущности. – Ух-х! – и Эми втянула ноздрями сырой мартовский воздух. – Питер, б...! Городок! Противный какой воздух, прямо как ножом в лёгкие... У вас вообще что, снег не убирают? Блокадники, б...! Шурик, ты тут сдохнешь. Надо рвать когти, я тебе говорю, у меня было на днях просветление. Одна тётка, потомственная ведьмачка, сказала: «У вас, Эмилия, колоссальная психическая сила, но в стадии закупорки». И вот я сплю в своей закупорке и вижу тебя, такую несчастную, такую бледную! Ну, так ты и есть бледная. На каком таком маршрутном такси? Шурик, ты свихнёшься в этом мертвяцком городе. Такие девушки, как мы... ягодки-бруснички, ты что!.. До Яхтенной за полтинник, о'кей? Ну и грязница! Ты чего в таком стародевичьем пальто ходишь? Такой питерский стилёк? Местный гламур? Один серый, другой белый. Понятно. Я бы здесь, если жила, одевалась бы в африканское. Слушай, тут развлечься-то можно? Да? А ты чего не развлекаешься? Работаешь? На х... ты работаешь – он тебе что, денег не даёт? Даёт, а ты работаешь? Я не въезжаю чего-то, Шурик...

– Крошка, мы же навечно с тобой договорились: я умная, а ты дура.

На первый взгляд казалось, что эта курская магнитная аномалия (она и впрямь была родом из тех мест) пышет здоровьем. Но, увы, крошку, верно, сглазили ещё в колыбели. Она дурно переваривала пищу, сутками маялась головой, страдала долгими непонятными кровотечениями. Не умела к тому же рассчитывать свои силы в романе с алкоголем – мы познакомились, когда я нашла её недвижимой в сугробе, пропахшем коньяком и духами «Палома Пикассо», и с большими муками притаранила в свою московскую съёмную квартиру. В вели-

кое плавание за мужчинами крошка Эми отправилась лет двенадцать тому назад и вполне заслужила по этой части инвалидность первой группы. С которой, как известно, уже не работают.

Мой флэт ей не понравился, и она обругала его длинным словом, выуженным из гламурных журналов.

– Минимализм! Хоть бы коврик повесили.

Курский идеал красоты не оставлял её сознания, и правильно – уют может быть только мещанским, другого уюта не бывает. Фотография Егора на фоне его маркета тоже показалась крошке сомнительной.

– Больно деловой – точно наебёт.

Когда она смыла краску, переделалась в простую белую майку и тяпнула вискаря, начались охотничьи рассказы. Мужчин крошка Эми не понимала и не любила, но жить без них не могла. При всём природном легкомыслии и жадности к существованию она панически боялась жизни. Этой растрёпке требовался хозяин, который распорядился бы наконец, как ей жить и что делать. Но место хозяина заняли временные съёмщики, которые в лучшем случае платили, а в худшем – сбегали. Всю прибыль, извлечённую из мужчин, Эми пускала на развитие внешности. Она *наращивала*. Нарращивала ресницы, губы, волосы, ногти, грудь, собиралась нарастить ноги, и без того протяжённые. Для наращивания ног девушкам ломают кость и вставляют аппарат Илизарова – стальной штырь. Эми долго копила на эту операцию и приехала теперь сделать её, поскольку все девушки страны знают, что *в Питере дешевле*. За полтора года, что мы не виделись, крошка превратилась в пародию на женщину.

*Они обезумели, но как ты смеешь презирать их? Разве от глупости человек просит ломать ему кости, чтобы удлинить ноги? А не от страха и отчаяния? Не оттого, что ты говоришь, скверно улыбаясь, как тебе нравятся в женищинах вот эти долбаные длинные ноги? Тебе нравятся блондинки – они сожгут волосы краской. Тебе нравится большая грудь – увеличат, маленькая – отрежут. Ты не любишь полных – уморят себя голодом. Они сделают всё, что ты скажешь, они замучают себя, чтобы ты полюбил их, они отрекутся от Бога, осквернят свою природу, на распыл пустят способности и таланты, двадцать четыре часа в сутки будут думать, что же тебе нужно, что же тебе нужно, что тебе нужно... Спаситель, когда Ты придёшь, расскажи этим несчастным, что нет, нет, нет на свете крема от морщин*

– Мне двадцать семь, понимаешь... – Пьяненькая крошка сидела на полу, качая головой. – Каждый год на рынок приходят новенькие, молоденькие, у них шансы... а у меня? Купил туфли, я просила, и с курьером прислал, как собаке, а потом уехал в Египет с приятелями, и телефон отключил, и не сказал ничего, а что я должна думать? Сначала хотел на службу взять пиаром, ты общительная, говорит, ты способная, а теперь всё, кранты, и разговора нет. Да! Когда я ему отсасывала по два раза в день на рабочем месте, я была способная!

– Тяжёлая физическая работа, между прочим, – заметила я. – Актёр Хью Грант, помнишь, был скандал на весь мир, взял чёрную проститутку за восемьдесят долларов. А ты же не проститутка. Могла бы брать по сто. Прикинь на круг, сколько бы вышло.

Крошка явно что-то стала считать в уме и окончательно расстроилась.

– Шурик, ты умный, скажи – что делать? Что мне делать?

Смутный понедельник уже переползал условную границу, где эстафету жизни принимал у лукавой Луны яростный Марс, командир второго дня.

– Господи, крошка, откуда я знаю, что тебе делать! *Соси свой крест и веруй*.

## ДВА – ВТОРНИК

### 1

Утром неожиданно забежал Егор, сердито, хоть и с любопытством, осмотрел крошку, разными частями выглядывавшую из ванной, шепнул мне: «Это что за шлюха?», схватил что-то позабытое и отчалил, не дослушав ответа.

Из окон нашего, шестнадцатого и последнего, этажа лился белёсый свет, извечный северный коктейль воды и неба, отражённых друг в друге. Мастер облаков сегодня на работу не вышел, и залив тонул в тумане.

– Не хочу кофе, ничего не хочу. – Эми смотрела на вид из окна. – Ты вот смотришь на всё на это, и у тебя за время, что мы не виделись, глаза поменялись. Стали ужасно светлые и совсем жуткие. И одеваешься как гимназистка, и эта косичка... Какая ты в Москве была классная, просто девка-зажигалка! Помнишь, как ты постриглась совсем коротко и окрасилась в «баклажан», а этот Марат армянский подарил тебе кожаные джинсы за то, что ты, после бутылки водки, сделала стойку на лопатках?

– Крошка, тот Шурик помер. Я в газете работаю, какой тут ещё баклажан на лопатках? У меня всё поменялось, состав крови, мысли, чувства... Я уже не кувыркаюсь им на потеху. У меня есть *своё*. Да, вот так вот одеваюсь и не размалёвываю лицо, чтобы они не подумали, будто я хочу им нравиться.

– Ты всё равно им нравишься! Ты всё равно такая же, как и была, – отличная заводная девчонка, только замученная совсем и не любишь никого.

– Нет, не такая же. Со мной что-то делается. Странное что-то... Будто кто-то внутри поселился и говорит, говорит...

– Я сразу сказала, – огорчилась Крошка. – Свихнёшься ты в этом городе. Ты, Шурик, меня воспитываешь, а сама что? Ты думаешь, он на тебе женится?

– Не знаю. Если их не любить и, главное, не хотеть, то жить можно. Я с Егоркой прекрасно уживаюсь. Немножко стыдно, что я его обманываю, ну а как иначе? Взять так всё и рассказать? Да он и слушать не будет. Да убежит сразу. Он сам виноват, что в упор не видит, с кем живёт. Я ж проговариваюсь на каждом шагу. Он тут фильм глядел, про Вторую мировую, я никогда про войну ничего не смотрю, ты знаешь, сидела в кухне, зашла на минутку, у него там на экране фюрер выступает. Я и говорю, совершенно автоматически: *Эта поганка Гитлер всё-таки сделал о... енный пиар своей дебильной нации*, – тут меня осенило: мама! Облом! Разве его Саня могла бы выдать такой текст? Не, ничего не заметил. Не расслышал. Про жениться не знаю, но что-нибудь с него будет. Он не жадный. Может, квартиру подарит, благодетель мой. И потом, как жениться, когда я с Коваленским так и не развелась. Надо будет разводиться, а как?

– А где он сейчас?

*Коваленский. Катастрофа. Воспоминание ампутировано.*

– Мне говорили, в Германии.

– Лучше бы мы с тобой, Шурёночек, – вздохнула крошка Эми, обнимая меня, – образовали крепкую семью нового прогрессивного типа. Получили бы поддержку мировой ответственности... Помнишь, тогда, в Москве...

– Тихо, тихо. Не всё надо проговаривать. Это же дольче, дольче... Туман, лебединое озеро, девушки танцуют... Не знаю, как из всего этого образуются бритые профессорши в армейских ботинках, которые организуют и направляют международное между-ног-движение. Нет, душенька, я не собираюсь милую причуду превращать в образ жизни. Да ещё всех об этом оповещать. И как бы мы жили с тобой? Я бы тебя содержала? Хочешь из меня сделать такую

ручную карманную мужчину? Оставь, крошка. Будем жить с кем придётся. Слабые должны быть хитрыми. Да будет тебе известно, на долю женщин приходится один процент мировой собственности.

– Ну и что?

– Ну и всё.

Крошка нахмурилась:

– То есть у нас ничего нет? Мы ничем... это... не владеем?

– Точно так. Выперли они нас на свободу, как зайчиков на мороз. Давай, давай, сама – учись, работай, выбирай мужа, воспитывай детей, и без никого.

– Что, разве, когда родители дочек замуж выдавали, лучше было?

– Не знаю. Я там не жила. Порядка, наверное, было больше...

С невесёлыми новостями зазвонил телефон.

Крошка видела, как я вскрикнула и заплакала, – стала виться вокруг меня, хлопотать. В трудную минуту ничего нет лучше хорошей русской б...

Умерла бабушка, *папина мама*. Никакой трагедии в этом не было, бабушка откусила от жизни презренный кусочек в девяносто два года. Она родилась ещё при звуках гимна «Боже, царя храни» и была в полном разуме до последнего часа. С царём в голове, так сказать. Я любила свою Федосью Марковну и давно собиралась её навестить, привезти хорошего чаю, поцеловать в иссохшую щёчку. Вот и привезла, вот и поцеловала. В гробу теперь поцелую.

Ладно, что там. Бабушка жила у третьей жены моего отца, денег у них не имелось никогда никаких, стало быть, отправляться к папаше, везти заветные *внушкины похоронные*.

Я перетряхивала сумку, искала триста долларов, выданных мне Егоркой *на красоту*.

Сумка – модель сознания, если в мыслях кавардак, что вы хотите от сумки. Второпях вытащила треклятый конверт от Владимира Ивановича. Крошка, помогавшая мне оживлёнными возгласами «а там не может быть? а ты в кармане смотрела?», схватила чёртово приношение когтистыми пальчиками.

– А может, тут?

– Да нет. Это мне компромат на кого-то слили, приходил косою хмырь из безопасности.

– Ого! Можно я посмотрю?

– Смотри. Всё, я нашла. Так. Сейчас бегом в душ, потом к папаше, потом в редакцию...

Когда я вернулась, приняв краткое и всегда чудесное благословение воды, крошка сидела на диване, а на стеклянном столике были разложены фотографии и бумаги.

– Шура... – сказала крошка самым ласковым из своих голосов. – Это компромат на Коваленского. На твоего бывшего мужа.

– Какой компромат на Коваленского? Какой на него может быть компромат? – закричала я, теряя сознание. – Кому он нужен! Коваленский – в Германии...

– Тут написано: назначен советником губернатора.

## 2

*Ментальные похороны* человек осуществляет единолично, и не один день уходит, чтобы засунуть наконец дорогого покойника в гроб, и самому вколотить гвозди, и побольше насыпать землицы сверху, и для облегчения совести положить цветочки красивых слов, что-нибудь вроде *в конце концов мы иногда жили хорошо были счастливы немножко* – а теперь быстро давать дёру и дорогу забыть...

Как бы не так! Покойник воскресает и, отряхивая землицу забвения, нетвёрдыми шагами идёт к воротам *кладбища воспоминаний*. Как ни в чём не бывало, ничуть не смущённый своей истлевшей одеждой и недовольством потревоженных червячков, он радостно восклицает: *Привет, дорогая!* – и, сняв с уха цветочек, читает: *Были счастливы немножко?*

С Львом Коваленским, сыном советского академика Иосифа Коваленского, мы прожили около пяти лет. Я вошла в этот брак смешной и довольно смышлёной девчонкой – а вышла законченной психопаткой. Моя американская двойница в такой ситуации обратилась бы к врачам и адвокатам. В скором времени она, бодрая и здоровая, сидела бы в загородном доме, отсуженном у бывшего мужа, и разрабатывала стратегию поиска личного счастья. Я не смогла даже подать на развод. Я сбежала в другую жизнь, в другой город и вернулась обратно только когда узнала, что он уехал за границу.

Какие ж нежности при нашей бедности. Девочка из новостроек, а сколько чувств. Женщины воюют с лишним весом, а как насчёт лишних чувств и лишних мыслей? Может, признаемся, что у нас вообще всё – лишнее...

Я смотрела на фотографии и ощущала, как рушится моя психическая защита, как обезумевшие волны памяти смывают крепость сознания.

Черпать силы в душе? Так душа и есть бесконечный источник слабости, не будь её – и я бы выиграла у них всё, что здесь можно выиграть. Если бы душа моя не выходила из берегов, не стремилась к чужой жизни, не чувствовала боли отверженности, если бы я превратилась в кристалл и созерцала собственное сверкание, если бы я не любила!

*То превратилась бы в гадину в такую же как они гадину только в женском облике полным-полна коробочка такого дерьма очень заманчиво стоило рождаться*

– Шурик, – жалостно простонала крошка. – Ты скажи что-нибудь, не молчи. Зачем тебе это подсунули?

– Я же в их игры не играю. Там тыщи народа сидят в политике, в безопасности, и что-то всё варят себе на русской дегенерации. Шутка ли, советник губернатора. Кто его знает, что он присоветует.

– А ты тут при чём? Вы ведь не встречались с тех пор?

– Официально-то я его жена. Знаешь, как он женился? Утром как-то проснулись, ему женщина позвонила, у него их много было тогда. По его ответам было слышно, что там сердились. Он и говорит мне – Александра, я тебя сейчас удивлю. Позвонил в загс, спросил, когда заявления принимают. Вот, говорит, пошли, надоели мне все, пусть знают, что я женат, и отваливают, если их это не устраивает.

– Ты его сильно любила?

– А можно как-то иначе? Слабо любить, чуть-чуть, едва-едва? Это в двадцать-то лет?

Что ж такое может случиться с человеком в двадцать лет, коли он любит *несильно*?

– Так он, значит, в Питере теперь, – догадалась крошка. – Ты хотела бы его увидеть?

– Нет. Нет. Нет!

– Господи, Шурик, не кричи.

Я собрала бумаги и сунула их обратно в конверт. За время свободы они как-то распухли и обнаглели, не хотели лезть обратно, не помещались, обросли жёсткой требовательностью, потеряли смирение. Вот, даже вещи, а что говорить о людях...

– Пойдём, крошка. Сегодня день забот. Не знаю, что будет, предаюсь судьбе.

На всякий случай надела красный свитер – уважить Марс. Хотя его не задобришь, он что захочет – то и сделает, по законам военного времени.

– Я что думаю, Шурик, – глубокомысленно сказала крошка. (Спаси Боже, ещё советы мне вздумает давать!) – Не буду я ноги пилить, чего-то мне в лом. Срежу немного на бёдрах жирку, и потом уши.

– Уши?!

– Да я когда вру, у меня уши краснеют. Установлено, факт. Так пусть сделают, чтоб не краснели. Мне ещё врать и врать.

## 3

Определённо, в моём отце была весёлость, из-за которой равнодушная жизнь время от времени всё-таки улыбалась ему, снисходительно махнув рукой. Нелепо было бы применять к этому существу строгую мерку. Папаша даже внешне представлял из себя *недомерка* – крошечный, скособоченный плод послевоенного деревенского недоедания. Волосы и зубы он потерял уже к сорока годам, но так же проворно двигался на тощих ножках, так же истово оживлялся при виде кондиционных баб, так же рьяно любопытствовал насчёт судьбы отечества. Он был из тех мужчин, что каждый день часами смотрят все информационные программы с тупым и глубокомысленным видом. Таких мелких и добреньких козликов греет мысль о больших, злодейских и всемогущих мужчинах, прессующих мир по тайному плану, который козлики всегда и с лёгкостью могут раскусить. Люди вроде папаша в семидесятых годах любили посылать письма знаменитым писателям, сначала витиевато извиняясь за беспокойство, а затем предлагая свою жизнь в качестве захватывающего сюжета.

Леонтий Кузьмич гордился своим именем и долго убивался, когда мама переменила мне отчество, сменив мужа. «Вытравлена память об отце!» – патетически восклицал он, явно получая удовольствие от переживания столь крупной драмы. Папаша гордился тем, что приехал из деревни и выучился в техническом вузе, гордился количеством своих браков, гордился кучей ментального мусора, который он принимал за образование, и особенно гордился самонужнейшей в нашем городе способностью умять пол-литра без закуски и доползти при этом по месту жительства – точнее, лежательства. Впрочем, алкоголь не был для Леонтия источником бытия, как стал для его первой («самой любимой, клянусь!») жены Мары, моей мамы. Я же говорю, в нём была весёлость. Удивительным образом он всегда ускользал от любой расплаты. В то время как другие платили распадом за пьянство, нищетой за лень, одиночеством за бездеятельность души – папаша как-то просачивался сквозь царство строгости без весомого остатка.

Где же ещё он мог обитать, кроме как на первом этаже блочного дома в новостройке, о которой сорок лет назад говорили «у чёрта на рогах». А теперь и ничего. Рога у чёрта подросли, никого не пугают.

– Сашенька, детка!

Видно, что долго плакал. Господи, какой он убогий, где он взял эту рубашку, заношенную до исчезновения первоначального рисунка в клеточку, из каких годов эти синие тренировочные штаны. Уж не мои ли школьные? В отличие от аккуратнейшей Федосьи Марковны, папаша был удручающе неряшлив. Но и это не отталкивало от него женщин, сразу прозревавших в нём обширное поле грядущей деятельности. Женщины любили папашу, потому что он их любил и умел принимать вызванную любовь. Он был урод, недомерок, но он умел принимать любовь, и потому четвёртая жена терпела по вечерам информационные программы, и пыталась его приодеть, и гнала на работу, и трагическим, укоризненным шёпотом говорила: «Леонтий...», когда тело возвращалось за полночь.

Вкусы у отца не менялись – он обожал фасонистых мещанских дамочек на каблучках, с маникюром и перманентом, таких, каких, наверное, впервые стал пристально разглядывать в конце пятидесятых, приезжая из деревни Зимино в светлый город Новгород. Одна такая Галина стояла на кухне, в халате и бигудях, о Всевышний, в твоих пределах ещё сохранилась классика.

*Давным-давно воды жалости загасили огонь ненависти, и осталось место в душе, лишённое жизни, папа и мама, у меня ничего нет для вас, только немного денег, и те чужие, обманные, а прощения просить не буду никогда и сама не прощу, я не Иисус Христос*

– Ой, Саша, – сказала приторная папашина сожительница, ужасно довольная моим могучим вкладом в Федосьины похороны. – Какая вы стала красивая, стильная...

Папаша, сквозь слёзы царственно распорядившийся напоить меня чаем, всплеснул руками и умчался в дебри жилплощади. Квартира была приличная, конечно, по социалистическим, не капиталистическим понятиям – две комнаты, лоджия (за каким хером лоджия на первом этаже, но это вам плановое хозяйство, а не буржуйский жук начихал). Полстены в прихожей были ни к селу ни к городу выложены булыжниками, втиснутыми в цемент, – незрелые плоды весёлого папашиного ума. Клеёнка на столе в розах, всё нормально. Я старалась ни во что не въезжать и потому даже испугалась вопроса бигудёвой Галины.

– Вы любите «Принцессу Нури»? Забыла, что это дешёвый чай.

– Не люблю, но буду.

Папаша торжественно принёс белую бумажную папку, на которой было крупно выведено «Саша».

– Мы тебя читаем! Горжусь. Я всем говорю, что ты моя дочь.

Он опять чем-то гордился, отопок. Бабушка Федосья так называла старые болотные подберёзовики, раскисшие от сырости, – «отопки».

– Папа, я ведь понимаю, как всё было. Они сдали бабушку в больницу, её как *бесплезную* положили в коридор на сквозняки и бегали мимо, а она жаловаться не привыкла. Ты бы хоть к себе перевёз, а то жила у чужих людей из милости. Она мне звонила, боялась попасть в дом престарелых.

– Каких чужих людей? Там внук её и невестка. Там моя жилплощадь, хребтом заработанная, и бабушкин дом проданный в ней, а у неё сердечные приступы через день, вот и больница! А там полна коробочка! Я тут при чём, интересно.

– Внук-придуток и его сучья мамка над ней измывались, и ты это прекрасно знаешь. Ты сын, это твоя мать.

– Но куда мы могли? – заволновалась Галина Четвёртая. – Про Вальку ты нам не говори, мы про Вальку всё знаем. Я Леонтия какого подобрала – без ничего! Нам тоже, извини, жить хочется, а я работаю, Леонтий работает, а эта п... ни х... не делает, что, трудно ей бабке каши дать?

– Галя! – укоризненно сказал папаша. – Женщинам нельзя материться. Женщина – это свирель.

– Вам, значит, можно, а нам нельзя?

– Да, нам можно, а вам нельзя.

– Я тут, папа, с тобой согласна, – подключилась я, желая смягчить ненужную резкость беседы, в которой была повинна.

*Как мне надоела моя душа беспокойная как я хочу блаженного холода холода холода избавиться от всех вас и вашей тёплой жизни*

– У нас в городе много опустившихся людей. И вот когда встречаешь пропитого мужика, который бредёт на своих ножках-заплетушках, весь уже серо-белый, тающий, нежилой, как весенний снег, это как-то... нестрашно. Его ещё может кто-то подобрать, отмыть, накормить, может, дома есть мама, выплакавшая глаза, или отчаявшаяся жена, или злая дочка. А когда я вижу опустившуюся женщину, вот тут душа содрогается, потому что ей никто не поможет, никто её не подберёт, здесь пропасть без дна. Это к тому, что вам можно, а нам нельзя.

Папаша глянул быстрыми хитрыми глазками, радуясь мнимому согласию. Он давно опасался меня и никогда не понимал.

– Ну, я тебе позвоню насчёт всего... Наверное, кремировать будем ма... ма... ма-мочкууу!

## 4

– Илья Ефимович, а у вас когда-нибудь было так, что вы кого-то сильно любили, потом ненавидели, потом забыли – а человек вдруг взял и нарисовался в вашей жизни?

Карпиков, корпевший над статьёй о том, что жилищное хозяйство города в упадке, из которого есть один выход – засудить администрацию, вследствие чего прогнившие трубы, естественно, не возродятся сами собой, в лучах торжествующей справедливости, но бедные люди хотя бы познают красоту законов, которых никто в России исполнять не собирается... посмотрел на меня рассеянно.

– Меня всегда удивляло, Саша, что русские женщины умудряются на что-то надеяться.

– Илья Ефимович, вы опять за своё... Я же спрашивала о другом.

Карпиков терпеливо вздохнул.

– Может, это и хорошо, что вы не понимаете, что с вами сделали. Мечтаете – ах, я люблю, я мир переверну, а мир что-то не переворачивается. Ну, кто там мог нарисоваться в вашей жизни? Какой-нибудь подонок, развративший вас в юности? Придумали тоже свободную любовь, чтоб девушек безнаказанно портить.

– Девушек, Илья Ефимович, всегда портили, они на то и созданы.

Карпиков наконец вышел из творческого тумана и расположился поговорить.

– Ох, Саша, Саша. Вы этого знать не можете, а я учился в шестидесятых годах и помню, какие тогда были девушки. Чистые, нежные, скромные, полные трепета жизни, да, трепета, не улыбайтесь. Помните актрису Людмилу Савельеву в «Войне и мире» или Анастасию Вертинскую в «Алых парусах»? Вот такие. Какие-то... последние. Тогда смеялись над писательскими штампами, банальностями вроде «распахнутые глаза», «взмах ресниц», но были, были они, такие глаза, такие ресницы... И в серединке губок такая капризная припухлость, будто мушка укусила. С ума сойти. И знаете, что с ними стало, во что они превратились? Кто выжил – в старых шлюх. Шкуры, суки, алкоголички. А кто послабее – погибли. Ну, конечно, есть некий процент пуленепробиваемых жён, но они тогда всё больше по комсомольской части отличались и мораль блюли, поцелуя до свадьбы не давали. Они да, уцелели. И я вам скажу: то, что с нежными девушками шестидесятых произошло, – чисто мужская работа. Под себя подогнали. Под достижения развитого социализма. Как теперь подгоняют под бандитский свой капитализм. А вы, Саша, в промежутки завалились, не нашлось на вас окончательного палача. Вам ведь за тридцать, правильно? Красивая, образованная женщина, вам бы дом, пару детей, а вы еле-еле на кусок хлеба зарабатываете и живёте с первым попавшимся проходимцем из-за жилплощади, вот что я скажу насчёт девушек, и не обижайтесь, ради Бога. Вы обречены любить тех мужчин, которые есть, которые рядом, а их чаще всего не за что любить, их нельзя любить, они только наглеют от этого, развращаются. Поэтому любвеобильность русских женщин абсолютно вредоносна.

– Любить-то Бог велел.

Карпиков поморщился. Всякая ссылка на Бога казалась ему типичным русским увлечением от личной ответственности.

– Это вам Бог велел любить этого, который теперь в вашей жизни «вдруг нарисовался»? Да в двадцать лет во что только не влюбишься... Начнется пожар на нижнем этаже, так они и Бога, и чёрта, чего только не приплетут...

Милый Илья Ефимович своим брюзжанием немного утишил мою тревогу. Но ненадолго – противный бесцветный голос вежливо осведомился, припоминаю ли я Владимира Ивановича и нашу беседу вчера и ознакомилась ли я уже с документами, которые...

– Да. Ознакомилась.

В таком случае не буду ли я так добра, не зайду ли я через час в кафе «Коломбина», что на углу проспекта, буквально в двух шагах...

Хорошо. Я зайду.

*Марс поможет мне, бурый Марс, честный воин, всегда знающий, кто враг и где победа. Не зря сегодня госпожа Дивенская с утра подвернула ножку, ах, нашу сухую балетную ножку. Водителю машины, которая чуть не сбила меня на переходе, я пожелала «чтоб ты не доехал» – жаль, я так и не узнаю, как именно это произошло, а почему нет, почему – нет? Какое оружие имею тем и пользуюсь Господи прости меня или накажи если делать нечего*

«Коломбина» – недорогое кафе, провозгласившее курс на «домашнюю еду», а дома наши граждане традиционно питаются яичницей с колбасой и котлетами-макаронами. Но я равнодушна к еде, а в «Коломбине», слава богу, не курят, значит, выпью воды за счёт чека, объясню косому специалисту, что в политику не мешаюсь, мужа, даже подлого и бывшего, давить не буду, ломать меня бессмысленно – Балтийский флот умирает, но не сдаётся, – и конец делу.

## 5

Как по нервам-то полоснуло – и всё, дышать нечем.

Расплылся, широк стал в боках, и волосы стрижёт, раньше длинные носил. Одет порядочно, в мягкую кожаную куртку и бежевый джемпер. Курицу ест, без гарнира. Довольно много отъел – давно сидит? Вот оно что, Владимир Иванович, вот вы какую засаду мне придумали.

– Александра?!

И незабвенная, лукавая, пленительная улыбка, и карие очи засияли, неужели не ожидал?

– Садись, Александра, раздели мою трапезу, не побрезгуй моим обществом, как говорится...

Рассматривает меня цепко и азартно, как опытный ювелир – драгоценность.

– Повзрослела. Похорошела. Правильный дизайн. Хорошо, что волосы натурального цвета и косметики мало – очень грамотно, молодит. Ну, что помалкиваешь? Заказывай, рассказывай. Тебе красное идёт, а я не замечал.

– Здравствуй, Лев.

– Мы нынче немногословны. Здравствуй, Лев. А я тебя второй день жду. Мне сказали, ты тут обедаешь, потому что недалеко от редакции. Я ведь давно в городе и всё про тебя знаю. Виски, коньяк, водочки?

– Воды, без газа.

Юмористически пожал плечами.

– Уже и газ перед ней провинился!

– Я от газированной воды пукаю.

Фыркнул, принёс мне воды, а курицу доедать не стал. Плохо выглядит эта объединенная птица.

– За встречу?

Пил он коньяк, как и отец его в своё время. Состоятельные советские евреи обычно пили коньяк. В коньяках надо *разбираться*, искать наилучший вариант, а они это любили.

– Второй месяц, знаешь ли, на своей старой квартире, помнишь нашу квартиру? Хочу обосноваться, ремонт какой-никакой сделать... Я ведь теперь тут, в Санкт-Петербурге, на приколе вроде как. Ну, рассказывай.

Я молчала. Я помнила *нашу квартиру* – их профессорскую квартиру – на углу улицы Гоголя и Гороховой, где обитала белая ледяная дама, Вера Филипповна Коваленская, ни разу не взглянувшая на меня, но только мимо, поверх, сквозь, видимо, ища взглядом ту даль, куда скрылся от неё жестокий и хитрый император её жизни Иосиф Коваленский.

– Слушай, неужели ты меня так всё время и ненавидишь? Какие вы, женщины, злопамятные. Надо, Сашенька, внутри головы прибирать, чистить, выкидывать лишнее. Меня, например, дико утомляют незнакомые лица, и я теперь сделался глуп и неосторожен, как встречу знакомое лицо – так сразу и радуюсь, а потом уже припоминаю, что это за лицо, к чему оно было... У меня под это дело бывшие приятели два раза денег перехватили. Ты не будешь говорить со мной? Я прямо весь дрожу от твоих казнящих глаз.

– Ты лучше сам расскажи.

– Хм. А что тебя интересует? Я вот в неметчине жил, долго жил, прижился даже – рассказать? Немцы, они бывают двух видов, есть простые – ну, с ними и надо по-простому, пиво пить да Германию нахвалять, а есть немцы секретные, у тех надо нащупать их секрет и намекнуть, что, мол, знаю, но никому не скажу. А там, в секрете, обязательно мечтания какие-нибудь, потому что нация-то мечтательная, а мечтать-то ей и запрещено. А у них тайком, в глуши их провинциальной, уже горы намечтаны. Ты, конечно, можешь посмеяться, что я, сидя тут, осмеливаюсь говорить про «глушь провинциальную», но это, ей-богу, истинно так. Германия рож-

дена какой-то большой и страстной, но боковой потребностью всемирного духа, оттого у них и разрастается опухолью всё нереальное, злокачественное, вроде их горбатой философии. Я, как приехал, стал оглядываться, обживаться и для погружения в национальную стихию решил пойти в оперу. Я тогда в Берлине сидел, где, после падения Стены, хороший город получился, для шизофреника удобный – всё в двух экземплярах. Два национальных музея, две филармонии, а оперных театров – три. Ну, думаю, послушаю-ка я Вагнера, что ещё слушать в Германии! Как раз в Дойче опере шёл «Тангейзер», ты знаешь «Тангейзера»? Лейтмотив знаешь, конечно, у нас под него в документальных картинах обычно рейх показывали. Неуклюжая вещь, точно вот рабы глыбы перекачивают или немецкий профессор сложноподчинёнными предложениями грузит невымытых студизусов... а из-под этого – нежнейшие, изумительнейшие звуки, прости уж за пошлость – неземные. Герой – поэт, влюблённый, гордый, голодный, с богами спорит. Идёт вся эта бодяга часов пять, не меньше. Сидит цельный зал сытых бургеров. Внимают, в загравках напряжение, но никаких видимых реакций по ходу действия. Я было решил, что Вагнер всё, отошёл в славное боевое прошлое и потомки Великого Безумия вежливо чтят его память, но ничего уже не понимают, не чувствуют в нём. И вот финал, последний звук замер... Что тут началось! Бургеры мои как заорали, как затопали, с мест повскакали, завыли! Наверное, полчаса они бесновались наподобие древних менад, и я подумал тогда – о, братцы мои, а с вами ещё хлопот будет мирным людям...

– А что ты там делал, в Германии?

– Что я всю жизнь делаю, Александра, то и делал – ничего не делал. Надувал добрых немцев, брал их деньги, болтал, путешествовал, женщин обижал, вы же любите на меня обижаться, правда?

Я старалась не смотреть ему в глаза.

– Кстати, где ребёнок? – спросил Коваленский. – Ты говорила про ребёнка. Он уже большой? Мальчик? Что ты так смотришь на меня? Позволь тебе напомнить – ты, моя законная жена, лет десять тому назад, ноябрьским вечером, заявила мне, что беременна, не прочла на моём лице восторга и сочла возможным уйти, не оставив никаких координат. Поскольку наше нынешнее свидание организовано тобой, я и спрашиваю – где ребёнок?

Когда Коваленский злился, то повышал голос, взвизгивал, и обнаруживалась его коренная, природная немужественность, скрытая обволакивающей древней чарой.

– Наше свидание кто-то организовал, но не я. Мне позвонили и обещали дать информацию, это бывает в журналистском быту. Сговорились на три часа, в «Коломбине». Я прихожу, а тут ты.

Коваленский сразу перестал злиться, он вообще был отходчив.

– Эге, значит, чья-то работа. Мне тоже позвонили, сказали – не хотите ли жену повидать, она каждый день обедает в «Коломбине». Я думал, от тебя сигнальчик. Вчера сидел здесь за клетками, ждал... Кто-то решил нас повстречать, не знаешь кто?

– Я сначала отвечу на предыдущий вопрос. Ребёнок родился преждевременно, он был неживой. Я долго болела, потом выздоровела и уехала в Москву. Там провела три года, доучилась в университете и вернулась домой. Мне ничего от тебя не нужно, и давай оформим наконец развод.

Он вздохнул и допил коньяк.

– Нету маленького Львовича. Жалко. Я привык к его грозному образу. Думал, мелодрама так мелодрама, в полный рост, сейчас ты приведёшь за ручку резвое кареглазое дитя и укоризненно посмотришь на его бесстыжего отца. Но всё оказалось верно. Я всегда знал, что мной ничего не начнётся – я заканчиваю... приканчиваю свой род. Деды ели кислый виноград, а я буду есть сладкий виноград. Так вот оно что, развод. А зачем тебе развод? Ты замуж собираешься?

– Пока нет.

– Пока нет. Так отвечают девушки, которые собираются. Серьёзное что-нибудь?

– Ещё рано об этом говорить.

– Ха. Так зачем тогда развод? Мне, например, никакой развод не нужен. Ты для меня идеальная жена. Вообще, Александра, почему бы нам не сойтись опять? Я ведь нынче на государственной службе. – Коваленский плутовски заулыбался. – Такой кайф! Представляешь, я – чиновник! Мне правильная супруга нужна, и ты мне подходишь. Ты сделала большие успехи, такая сдержанная стала, воспитанная, сформировалась наконец, да... Что-то благородное появилось, а была дворняжка дворняжкой. И всё страсти, из книжек вычитанные, всё порывы, всё другие тебе должны и перед тобой виноваты, главным делом я, конечно...

– Лев, ты... ты не можешь остановиться? Что ты говоришь?

– А что я такого тебе говорю? Правду говорю. Я лгу только за деньги.

## 6

– Посиди ещё со мной, не убегай, какая глупость эти ваши женские побеги. Чего ты тогда добилась, моя дорогая? Травмировала себя на всю жизнь. Я сейчас гляжу на тебя с нежностью, вспоминаю, как впервые встретил – в университетской столовой, да? Яйцо под майонезом, рыба под маринадом, салат столичный! Два хлеба, пожалуйста. Кофе с молоком, загадочный напиток, который по всему Союзу наливали из ведер в железные бадьи с краником. Я потом пытался воскресить этот вкус – тщетно! Оказалось, напиток не поддаётся изготовлению в домашних условиях. Они получали с военных складов секретный порошок и чем-то потаённым разводили, не иначе... Ты красилась в блондинку, нервная, глазастая девушка, я тогда сразу подумал, что ты скорее всего невинна. Ты боялась моей компании и упрямо старалась показать, что и это читала, и то смотрела, и всё время волновалась. Как море. И я тебя захотел, и мы тогда целый день гуляли, апрель был, начало самое, а в конце его ты засмеялась и сказала – «вот мы и пропили апрельчик». Видишь, я не забыл. А ты смотришь с ненавистью и страхом. Ты меня не помнишь и ничего хорошего не помнишь – только свою боль. Что брак наш был дурацкий, я согласен, и что я виноват, спорить не буду. Но это прошло, сгинуло, сдано в архив, мы сидим с тобой *здесь, сейчас*, нет того Лёвы Коваленского, папашиного сынка, бездельника, и тебя, Саши Зиминной, дикой девочки, которая полюбила меня, как под поезд попала, – тоже нет. И что время даром терять, спрашивается? – Он жестикулировал белыми изнеженными руками, сколько же поколений Коваленских не знали грубого ручного труда? – А как мне нравилось, что ты не умела толком есть, путалась в нашем семейном серебре, не особо любила выпивать, ни одной фразы не могла договорить до конца, задыхалась от волнения. «Невоспитанная девочка», как изволила молвить Вера Филипповна. Я потом понял, когда однажды лицезрел твоё семейство, мамашу с отчимом, в нерукотворной красе, отчего ты задыхаешься. Я всё боялся, что они сейчас меня заставят Окуджаву петь, хором. У тебя воспаление лёгких начинается, а они сидят квасят, тёплые, румяные, в дыму, и на обоях уже ромбиков не видать от грязи. Я тогда и решил на тебе жениться. А ты думала, я действительно вот так вот, сдуру, с утра шуточку пошутил? Не-е, это я этюд разыграл, чтоб ты не воображала. Мне тогда тридцать лет исполнилось, и вдруг женюсь – мамочке в подарок. Ты отца моего не застала, верно? Застала? Там целая драма была. Я всё за чистую монету принимал – его импозантный вид, седые кудри, величавые обряды, священный кабинет, где «тихо, масик, тихо – папа работает», закоченевших от стеснения аспирантов, и обязательно надо кушать нечто особенное («тефтели на пару»! «пюре из чернослива»!), и говорить домработнице «вы»... Папа знает всё, что было, есть и будет. Папа пишет историю. Почтенная профессорская жизнь – чаепитие на веранде, разговор о литературе. А потом понимаешь, что все обожаемые формы – ворованные, слизанные с настоящих профессоров, писавших про настоящую историю и давно сгинувших, а толстые папины книжки, богато инкрустированные цитатами, в кружавчиках ссылок, – подлая, бесстыжая конъюнктура, фальшак, апофеоз совковой борьбы за выживание. Папа – муляж. Чучело профессора. Я это годам к двадцати раскусил и забил на все формы их жизни. Я думал, ты такая же, только из другой помойки, и ты меня поймёшь. Неужели ты всерьёз хотела белое платье и любовь до гроба? Да, признаюсь, я не всегда щадил твою неопытность, но ты сначала так забавно пугалась и смущалась, а потом так прилежно старалась выучить уроки и угодить мне... Не видела ты меня настоящего, нет. Кого-то в уме вырастила, блистающего добродетелями и талантами, а я был ленив, циничен, развращён мамочкиным обожанием и вашей тяжёлой любовью, милые дамы. Я тебя уверяю, будь ты похолоднее – жили бы до сих пор. Зачем ты меня ждала по ночам и встречала бледная, гневная, набитая злыми словами, которые непременно следовало вывалить на меня? Зачем ревновала к любому легкому флирту, к каждому женскому голосу в телефоне и вдобавок ко всем друзьям и делам? Отчего не заняться собой,

не завести отдельную от меня жизнь? Я бы позволил, пожалуйста. Вообще люблю, когда женщины учатся, работают, а не душат нас круглыми сутками...

– Лев, я уверена, ты замечательно ужился бы с такой же, как ты, – с холодной, опытной и циничной свободной женщиной. Ты только подзабыл, что женился на двадцатилетней девушке и был у неё первым. Какого «настоящего» тебя я могла видеть, если умирала от любого грубого твоего слова, если сходила с ума от счастья, когда... я... когда мы...

– Ну, я понимаю когда.

– Что я могла знать, что? Ты видел, как я была одета, когда мы познакомились? У меня был бюджет – пятьдесят копеек в день. Колготки вечером постираю, утром не высохнут, так сиди дома или влажные натягивай. Я влажные натягивала – ведь три раза поступала и чудом поступила, надо учиться. Я училась неистово, фанатически, я хотела выбиться в люди, а тут ты, ваша квартира, диваны ампирные, картины, обеды... другая жизнь. Из-за тебя я бросила университет, ты сказал, что нечему там учиться, ты заявил, что сам меня образует. Не знаю, какие у тебя были идеи на мой счёт, что ты собирался из меня вырастить, но не то ужасно, что ты мне изменял, а то, что нарочно не скрывал. Ты их домой приводил!

– Приводил, в воспитательных целях, чтоб знали, что я женат, и губу не раскатывали, и ты чтоб не воображала, будто я к тебе навеки пришвартован.

– И это хорошо, нормально, правильно так поступать, когда твоя жена тебе говорит «я беременна», а ты отвечаешь «меня это не интересует»?

– Вода у тебя кончилась. Хочешь ещё воды? Да? Я принесу. Ты очень выгодная партнёрша, не пьёшь, не куришь... Мне тогда не до тебя было. Я одно предложение получил и над ним думал. А про твои слова решил, что это опять новое коленце в семейной войне, теперь будешь меня беременностью шантажировать. «Не уходи, мне вредно волноваться»... «Я хочу апельсинчиков»...

– Лев, я была *твоей* женой, это был *твой* ребёнок. Я не знаю, что ещё говорить и зачем.

– Ну ладно, прости. Я не утверждаю, что был прав! У человека бывают разные настроения, неужели это непонятно? Сегодня огрызнулся, завтра покаяться. Зачем ты ушла? Ушла, бросила меня. Я вообще, может, обиделся. Нет чтобы простить, подождать, потерпеть... Нет в тебе терпения Божьего, Александра, горячая ты. Чужому бы простила, а любимому простить не можешь. Кстати, насчёт «была *твоей* женой» – ты по закону и сейчас моя жена. Мама умерла ещё в девяносто четвёртом, тётка есть двоюродная, но та в Израиле, так что случись со мной поганка, ты мой прямой наследник. И отчего бы нам опять не сойтись?

– Так Вера Филипповна умерла... мир её праху.

– Надо говорить: царство ей небесное.

– А за что ей царство небесное? Кого она любила, кроме своего Иосифа и Льва, сына Иосифа?

– Для женщины этого достаточно – любить мужа и сына.

– Нет. Не достаточно. И вот что, избавь меня от этой темы про наследство. Про «сойтись» я и говорить не буду.

– Напрасно, наследство неплохое. В наше практическое время, как говорится, не стоит сбрасывать со счетов... Квартира четырёхкомнатная в центре, приватизирована, потом серебро, фарфор, картины, мебель... Я чуток продал, перед Германией, самую малость. Дача в Соснове, на это лето сдана, а потом всё, сам въезжаю. Машины бриллианты не забудь – брошь и серьги, ширпотреб, конечно, но – позапрошлого века. Счёт имею в Дойче банке как немецкий шпион и в Сбербанке как примерный россиянин. Александра, миллионы твоих современниц сейчас смотрят на тебя и кричат: дура! Соглашайся! Вот гордячка. Ты что, много пером зарабатываешь? И где живёшь, кстати? Ведь не с родителями? Они уже спились, я надеюсь? А то не хватает мне новых-старых родственничков...

– Дело не в гордости, а в том, что я с чужим, равнодушным и предавшим меня человеком жить не хочу, не могу и не буду. Давай разведёмся, и ты на свои приманки много рыбок поймашь. Женщины нынче дешёвы. А мне комфорт, знаешь, по барабану. Кстати, я зарабатываю мало, а живу с любовником.

– Молодой, богатый?

– Молодой, богатый.

– Ясенько. Это не он сейчас у дверей стоит и пять минут на нас ошарашенно смотрит?

– Это с работы, наш фотограф Андрюша, стесняется подойти. Андрюша, привет!

– К чёрту, к чёрту твоих сослуживцев. Тут разговор третьей степени секретности. Давай-ка, Саша, обменяемся телефончиками, мне ещё много надо тебе порассказать...

## 7

Не помню, как вышла, куда шла... Так часто случалось в той жизни, когда от боли и обиды я убежала прочь и шаталась часами, шепча невысказанные слова, складные, убедительные, которые придумываешь всегда потом и которые никогда не говоришь наяву. Город наш идеален для несчастных, выхаживающих своё разбитое сердце, он стелется им под ноги, услужливо объясняя, точно опытный и расчётливый экскурсовод, что всласть порыдаться хорошо в нелюдимом конце Фонтанки, завить – так это на бывшем Семёновском плацу, на пустырях, а если ревьешь беззвучно, можно и посреди Марсова поля. У меня не было от Коваленского никакой защиты, нет её и сейчас.

*Старая история: если уж существо собралось на землю с целью пострадать – будьте уверены, из великого множества людей оно выберет именно того, кто причинит ему наибольшее количество страданий. О, его не собьём с пути истинного, оно растопчет любого хранителя, неосторожно сунувшегося со своими пискарами насчёт «не ходи туда – сюда ходи»*

«Ты не помнишь». Я помню даже, какого числа ты повёз меня ночью в дежурную поликлинику лечить больной зуб – двадцать третьего сентября. Тебе нравилось, когда у меня что-то болело, когда я была слабой и с восторгом зависела от тебя...

«Я никогда не желал тебе зла». О, я не сомневаюсь.

Однажды я прочла обстоятельную статью – не в жёлтой прессе, а в солидном научном сборнике, – речь шла о мужских и женских убийствах. Типичное бытовое убийство происходит в одних и тех же обстоятельствах. «После совместного распития спиртных напитков с половым партнёром...» Дальнейшее известно, для него годится любой нож, каким бы тупым он ни был. В бедняцких хозяйствах обычно нет острых ножей, но убивает-то не нож.

Мужское убийство характерно тем, что, как правило, на теле жертвы обнаруживают множество колотых ран, их отвратительное количество поражает, оно фантастично своей бесцельностью – ведь если хочешь убить, для чего наносить тридцать, сорок ран? Но вот в чём и соль, они не хотят именно убить. Они осуществляют акт агрессии в отношении ненавистного, раздражающего предмета, а любой акт имеет некоторую длительность. Когда они приходят в себя – дело закончено. Тут мужчины обычно скрываются в самом идиотическом месте – типа, у мамы, – а пойманные бормочут «сам не понимаю, что на меня нашло». Это правда, они не собирались убивать, просто когда хватаешь нож и тыкаешь в мерзкую плоть, чтоб она замолчала, та лишается жизни. Кто же это мог знать.

Женщины убивают иначе. Они знают, что делают. Они хотят именно убить и убивают. С одного раза. Прямо в сердце.

Потом они собирают вещи, одеваются, подкрашивают губы – и идут сдаваться в милицию.

*Женщины убивают редко, гораздо реже, чем мужчины, но я вот всё думаю об этом одном-единственном ударе какой силы этот удар и откуда берётся эта сила и эти женщины всегда стёртые тихие кто бы мог подумать Кассирша Леночка двое детей что-то прорывается сквозь них а если когда-нибудь оно сорвёт фиговый листочек нашего сознания и вывалит раскалённым зверем в мир оно Нет Она Она Она ненавидящая немилосердная несправедливая ведь справедливость не женское ремесло*

Неужели он вправду собрался жить со мной, это катастрофа, он задавит меня, сегодня слова не могла вставить, пусть он постарел и расплылся, но чары те же, и тот же повелительный тон. Курица не птица. Я курица, за мной хозяин пришёл.

Стоп-стоп. А белый конверт, а Владимир Иванович, а... что они от меня хотят? Насколько я поняла, Коваленский спущен сверху что-то вкручивать нашему губернатору. У него крепкие связи в центре и туманный немецкий хвост из прошлого. Местные спецслужбы, видимо, недовольны. В конверте были фотографии Коваленского с немцами и финансовые

документы, в которых я не разбираюсь. Они целыми жизнями играют в игры, и я нынче у них где-то числюсь... *в разработках*. Может, сказать ему? А вдруг он сам знает, ловит меня... Раз в такие дела замешался, всё возможно. Дали инструкцию: в целях укрепления репутации проверить и обезвредить бывшую жену. Нет, всю волю собрать в стальной кулак и разбить ловушку. *Ловушки ловушки из гнилых слов а слова им давали мне не было слов и завет с ними заключали со мной не было завета*

Уже поздно вечером добралась домой и, только лёжа в горячей воде, поняла, как зазябла, как измучилась сегодня. Вот бы мне сократить и упростить свою психику. Есть способы отключения, но я их презираю, а волей тут ничего не сделаешь, разве что – удержишь душу в границах тела. Что за анафемское рассуждение – «чужому бы простила, а любимому не прощаешь». Я видывала множество пьющих женщин и оставалась равнодушна, но как я могу простить своей матери убогий быт, безразличие, остекленевшие глаза, вечные истерики и эти их мерзкие алкоголические хоры. Любой посторонний человек имел право сказать мне в ответ на объявление о беременности: «Меня это не интересует», но не ты, властитель моей жизни. Не понимаю, никогда не пойму, как можно так жить – ни за что не отвечая? Всю жизнь бить горшки, так останешься с черепками.

Егор посмеивается, что я завела в нашей квартире корабельную чистоту (он говорит – как в морге), но если бы он знал, какую мне сделали прививку ненависти к любой грязи. Правда, Лев всегда уверял, что протестного существования хватает ненадолго и, опровергнув родителей, бунтарь воспроизводит затем их формы жизни с небольшими вариациями. По этой логике, девочка из распавшейся семьи подсознательно склонна уничтожать свои половые союзы, а сын пьющего скитальца обречён куролесить по отцовскому образу и подобию, единственное, что он в силах изменить, так это качество быта – скажем, пить дорогие напитки и путешествовать в первом классе, в то время как папашка довольствовался пригородными электричками и пивком для рывка. Что-то есть верное (как всегда – не для всех, ибо нет рассуждений, справедливых для всех) в Львовых соображениях, вот ведь он, виртуоз безделья, презиравший отца, советского профессора, за корыстное угождение проклятой власти, сам стал государственным служащим...

*Злосчастные пленники случая и судьбы что вы там чирикаете о свободе в мире где Марс это дешёвая шоколадка*

Господи, только бы Егор не пришёл. Не звонит – и я не буду звонить. Пусть думает, что у него дома ручной зверёк сидит и есть не просит... а я сегодня вообще что-нибудь ела?

## 8

Я стараюсь питаться разумно, принимать *полезное*, хотя и далека от религиозного трепета, с которым оформляет эту сторону жизни друг Карпиков. Но сегодня я не чувствовала голода, а это опасно. Теряю границы, выхожу из берегов. Надо заземляться. Что-нибудь съесть, прочитать, телевизор посмотреть... загрузить себя обыченьким.

Заземляться... Всю жизнь и слышу – успокойся, не волнуйся, забудь...

*Ничего не забывай. Никого не прощай. Никогда не успокаивайся*

Кое-как выбралась из-под завала, построила жизнь. Нет, они заявились. О, где ты беззащитен – туда тебя и ударят.

*Ты беззащитна? Ты всеильна. Только прикажи, царица, – мы всё исполним*

Я ведь никогда этим не злоупотребляла, я знаю, что запрещено, разве в шутку, по мелочи...

*Запрещено? Да кем запрещено? Кто может тебе запретить?*

В детстве я всё лето проводила на природе, не ближней пригородной – дальней, сильной, обнимавшей меня, как ласковая мама, которой у меня не было. И словно кто-то смотрел на меня с неба, шептал, шелестя листвой, гладил по бедной голове и всегда одаривал, за чем бы я ни шла – хочешь гриб, бери гриб, цветы – держи цветы, и вода всегда была тёплой для меня, даже в плохую погоду, и молоко у нас с Федосьей не скисало в грозу...

*Доченька*

Я хочу, чтобы он убирался из моей жизни. Чтобы он больше никогда не приближался к ней. Чтобы на этом месте отсюда и в вечность было пусто.

*Сделай это*

Я взяла фотографию, где Коваленский красовался на фоне загородного дома вместе с типом, на лице которого было написано, что он немец. Это не каждая нация так умеет. Лев там был похож и на себя нынешнего, и на того, что сказал мне когда-то «меня это не интересует». Такой был переходный. Конечно, улыбался. Полосатая футболка.

*Один удар*

Я положила фотографию на разделочную доску. Взяла из сушилки первый попавшийся нож. Перевернула доску так, чтобы изображение легло вертикально. Придавила края фотографии большим и указательным пальцем.

*Хеть! И конец, а ты боялась*

Примерно там, где сердце, наверное там, не знаю. Нож на полсантиметра вошёл в доску. Я ничего не чувствовала – ни ярости, ни радости, ни облегчения.

Странно как-то было. Пусто. А потом что-то подошло, подкатило, ворвалось в голову, я будто растворилась в горячем красном тумане и, выдернув нож, стала бить ещё, ещё, ещё, в лицо, в глаза, в губы.

*Довольно хватит это лишнее*

Я нанесла более сорока ударов. Поверхность фотографии покрылась дырчатыми буграми, кончик ножа загнулся, а на месте лица у Коваленского... Это следовало сжечь. Я разорвала фото на мелкие клочки, положила на тарелку и по очереди подносила спичку то к одному клочку, то к другому. Фотографии очень плохо горят.

*Вот и всё вот и хорошо сделала дело гуляй смело правда немчуре тоже досталось но он из бесчисленных резервных а воображает дурачок иди спать*

Я выбросила пепел и обуглившиеся частички фото в мусорное ведро, вымыла тарелку, положила нож обратно, прошла в комнату и упала на постель.

## ТРИ – СРЕДА

### 1

Я проснулась разбитой, с пустой головой и тяжёлым сердцем. Несколько мгновений длилось зависание – мне не удавалось вспомнить, кто я. Потом всё хлынуло сразу и в беспорядке, среди самых противных воспоминаний был остов объединенной Коваленским *курицы* и загнувшийся кончик ножа. Неистребимые инстинкты бедного человека обеспечили мой выбор: для воплощения своей беспомощной истерики я выбрала самый никудышный нож. Дешёвый, китайский. Чёрная ручка располовинилась и разъехалась, держась на одной нижней клёпке. На незащищённом остове быстро завелась ржавчина. Вряд ли этот инвалид домашнего труда подсобил воплощению моей преступной ментальности.

То был мой нож, не Егоркин, взяла у мамы, когда вернулась из Москвы и сняла комнату. Я тогда получила в наследство несколько жалких вещей для кухни, а эта сфера всегда была у нас в доме подавлена свирепой материнской ненавистью. Никогда не получалось увидеть на столе даже трёх-четырёх одинаковых рюмок или вилок кряду; предметы, удручённые своим одиночеством и некрасивостью, служили нам как-то невесело, точно их угнетала доля сгинувших товарищей. Ведь бои на поражение велись чуть не каждый день, то и дело обугливался чайник, падала в помойное ведро лихо сметённая вместе с остатками пищи ложка, трескалась облитая крутым кипятком чашка...

Среда. Ненавижу. Среду – ненавижу. Наверное, шустрый забавник Меркурий, заведующий всеми складами среды, не любит таких, как я. Мы, тяжёлые психические люди, не умеем видеть в жизни приятную выгоду, мы противны его циничной летучей сути. Занятное совпадение, но я ненавижу всё, что обозначено этим словом. И та среда, которую кто-то из соавторов воспевал как «поворотное колёсико недели», и та, что, по утверждениям второстепенных персонажей Достоевского, заедает людей, – мне враги.

*Истина – удел второстепенных персонажей; главные герои обязаны заблуждаться, главные молотят в монологах свою высокомерную чушь, а второстепенные знают, что знают: например, среда действительно заедает.*

Ничего значительного в моей жизни не происходило в среду, но клейкая бесформенность этого дня частенько доставляла мне изнурительную досаду. Так бывает во сне, когда хочешь куда-то доехать и до кого-то дозвониться. У меня никогда не получалось – средства передвижения и связи рассыпались, разваливались, обнаруживали свою глубинную ненадёжность, поскольку были созданы земной памятью о них, не имели опоры в материи сонного мира, где нет ни поездов, ни телефонов, где по сговору *о вечном обмане* кто-то, притворившись автобусом, вдосталь кривляется перед тобой, попавшим в сонную беду.

Среда – редакция, Лиза, потом Ваня и Фаня, потом вечером наверняка Егорка. Опять на людях целый день.

Надо вынести мусорное ведро. Там улики – самой смешно стало: надо же так осатанеть, всю фотографию истыкала, мало показалось – сожгла. Но любезный Владимир Иванович снабдил меня кучей материала, для верности можно потом повторить...

*Что повторить, безумная девочка, что ты хочешь повторить, ты убьёшь его, это в твоих силах*

Ну, прямо. Это... это просто так, для облегчения психики. Вот теперь я буду смотреть на него как равная – ты виноват, и я виновата, и расстанемся на том.

*Неужели нельзя расстаться ещё в земных пределах, но – вечным расставанием? Неужели ни с кем нельзя расстаться без возврата?*

А ведь наверняка, подумала я за утренним кофе, есть женщины, осознающие *ту силу*. Они спокойно распоряжаются ею в личных интересах, только помалкивают об этом. Без всякой неопрятной чепухи, без зарезанных петухов и растерзанных куколок.

Нет, я не имею в виду ярмарку шарлатанства, где снимают «венчики безбрачия» и «возвращают мужей в семью», по-настоящему властные люди должны быть скрытны... Что за гадость, кстати, эта индустрия семейной магии, и ведь как расплодилась. В любой газете объявлений потомственные ворожеи обещают вернуть мужа в семью, излечив по пути от пьянства. И никто не заикается о правах человека, никто этого мужа не спросит, хочет он в семью, нет ли. Бедные мужички, ни выпить на воле, ни потрахаться. Тут же возникнут целительница Пелагея и провидица Марфа с мистической клюкой. А ну как действует? И во вред здоровью? Старинные-то письма в партком погуманней были...

Сегодня решила надеть фиолетовую рубашку. По многолетним наблюдениям, Меркурий не реагирует на синее – фиолетовое – лиловое, но попробовали бы вы нацепить в среду красное! Коса надоела, заколю волосы на две шпильки. Да только две и осталось.

Дом наш построили недавно, он имеет видимость приличного, снабжён домофоном и мусоропроводом, а всё-таки Вася уже побывал здесь и расписался в лифте и в подъезде. Большевики добились своего: реализовано безумие всеобщей грамотности. Гориллы пишат!

Снег раскис, и ноги сразу промокли. Иду уверенным путём в насморк. Господи, бросить эту битву за честный кусок хлеба, обречённую в России, сойтись опять с Коваленским, буду *советница губернатора*...

В маршрутке, как всегда, граждане орут по мобильным телефонам. Волны вселенского вздора пронизывают исчерпанное отечественное пространство. Начинка мира сожрана и подменена отходами. Всё размякло, разболталось. Какой собачий интерес Провидению смотреть это кино? Списать в убыток и начать по новой. Наверное, там, в небесном Голливуде-Мосфильме, споры идут насчёт доделывать нашу земную комедию или ну её на фиг. Жалко, большой был бюджет.

## 2

– Саша, когда подспеют ваши матери-одиночки?

– В понедельник, Илья Ефимович, без вариантов, вы меня знаете.

– Запомни сам, скажи другому, что честный труд – дорога к дому. – И Карпиков забавным фертиком упёр руки в бока. – Ну что, небось насмотрелись на матерей-то?

– Ничего страшного, даже полезно. Здорово люди бьются за жизнь... Вот и я так могла бы. Скоро Лиза придёт чай пить.

– А, овца спасённая?

– Это вряд ли. Там на три погребели скоплено...

Однажды я получила на адрес «Горожанина» электронное письмо, отчаянное и нахальное. Оно начиналось так: «Госпожа Зимина, я прочла кусок вашей статьи в клозете, где рвало. Вы пишете о проститутках, что это люди даже не второго сорта, а мусор и они сами себя презирают. Мне восемнадцать лет, я даю за деньги, и это моё личное дело. Деньги мне нужны для кайфа, а кайф нужен, чтобы никого вас не видеть. Я только хотела бы спасти морских котиков, потому что они прикольные, а люди уродские. Скоро я улечу обратно в свою страну из этого fucking world, потому что я эльф...» Подписано «Миранда». Я ответила следующее:

«Эльфинстон, госпоже Миранде, лично.

Хочешь улетать – улетай, миру нужна помощь, миру нужны трезвые честные работники, а не безграмотные наркоманы-предатели, и знай, что морским котикам без тебя конец. Не тебя, кретинку, жалко, а твоих несчастных родителей, которые тревожились, что это деточка так мало ест, что это она худая да бледная, а деточка решила свою жизнь спустить в унитаз. Я тебе вот что скажу – это не world fucking, а ты fucking дура. Женщинам органически, абсолютно не нужны ни алкоголь, ни табак, ни наркота, у них в этом нет ни малейшей потребности. Они стали это делать из подражания мужчинам, из смехотворного желания присвоить часть их «могущества», повторить их движения, присоединиться. Какая нечистая сила внушила тебе вредные иллюзии равенства? «Они ширяются, значит, это интересно, и мне интересно, им можно, и мне можно». Нет, мир ещё не видел такой скучной, такой пошлой молодёжи. Из-за таких, как ты, землю населят одни китайцы, и правильно сделают. Чего зевать, когда само лезет в рот...»

Моя искренняя злость поразила «Миранду». Она снова написала мне. «Я не думала, что вы мне ответите. Здорово, что вы так рассердились. Я сама хочу соскочить, но пока не получается. Вы написали, что миру нужна помощь, но разве ему можно помочь?» И так далее. Миранда оказалась Лизой Чекаловой с проспекта Ветеранов.

Честно говоря, я в душе согласилась, что она эльф, – такая Лиза была тщедушная. «Цветочки растут в Булонском лесу, дружочки живут в глубине моего сердца»... Мы полюбили гулять по городу – я, в своих длинных юбках, нарочито строгая, как учительница, и Лиза, с неизменным рюкзачком за плечами, разномастными перышками на голове, нервно-оживлённая или заторможенная, сжатая в боевой кулачок и всё-таки доверчивая зверушка.

Она никак не могла согласиться, что жизнь – серьёзная и трудная работа; всё её крошечное мечтательное существо желало цветных уютных миражей, соразмерных её детской девятиметровой комнатке, и от нарядных мультиков про королей и принцесс так легко было перебраться к грёзам собственного изготовления, к анимации заресничной страны. Невозможно было представить, что кто-то осмеливался купить это невесомое тельце, и я надеялась, что Лиза соврала мне, но нет.

– Лиза, скажу тебе честно: однажды, на спор, в шутку и спьяну, «я пошла на панель», но я была взрослая оторва, и, кстати, ничего и не было, мы с этим парнем потом подружились... А ты, чистая девочка, воспитанная студией Диснея пополам с Союзмультфильмом, как могла свалиться в такую грязь? Зачем?

– Да вы, Александра Николаевна, не понимаете, что это всё... мимо, это всё равно не про меня, это – там.

– Как это – там? В твоё тело вторгается чужая отвратительная плоть, а тебе всё равно?

– Да никуда она не вторгается, это ей так кажется. Ладно, вот попробую объяснить. Вы, например, случайно попадаете на одну планету с другой какой-нибудь планеты. Вы тут ничего не знаете, но обратно никак не вернуться. Почему-то. Ну, надо тут, значит, как-то побыть. А вы питаетесь, например, только ананасами, больше вам ничего здешнего не подходит. И можно попасть туда, где ананасы растут, и сколько-то времени продержаться, а потом вас, конечно, друзья найдут и спасут. Обязательно. Но чтобы попасть к ананасам, нужно сто семьдесят красных квадратиков из фольги. А в этом странном мире, где вы сейчас, там есть места, где, если вы разденетесь, дают два квадратика, если разденетесь и закроете глаза – три квадратика, а если ещё ноги раздвинете и немножко потерпите – целых пять. И что, – торжествуя взглянула на меня Лиза чёрными мохнатыми глазами, – вы будете с голоду умирать или пойдёте собирать свои квадратика?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.